



АНДРЕЙ ЛАЗАРЕВ

МИЛЫЙ ИНДРИК

Андрей Лазарев
Милый Индрик

«Издательские решения»

Лазарев А.

Милый Индрик / А. Лазарев — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856310-2

«Милый Индрик» — нелепые хроники древности, состоящие из воспоминаний некоего спившегося в своей келье отшельника, пещерных сказок, вставок и выписок из разных книг, а также рассуждение чудного зверя по имени Индрик. «Додик в поисках света» — ироническое духовное путешествие. Нелепый человек Додик Маневич ищет смысл и неясный свет, доходит до Индии, повсюду натывается на Учителей и духовных искателей, живет в монастырях и ашрамах, вертит носом и пытается просчитать свою дурацкую судьбу.

ISBN 978-5-44-856310-2

© Лазарев А.
© Издательские решения

Содержание

Милый Индрик	7
Дальше всего: Я живой	7
Говорит милый Индрик	8
Первая пещерная сказка	9
Ближе: Оглядывание	10
Говорит милый Индрик	11
Ближе: Открытие второго крыла	12
Вторая пещерная сказка	13
Ближе: Молитва	14
Дальше: Брат Андрей	16
Говорит милый Индрик: Водопровод	17
Дальше: Наша деревня	18
Говорит милый Индрик: Подслушивание	20
Говорит милый Индрик	21
Ближе	22
О пьянстве	23
Ближе: Двойник	24
Третья пещерная сказка	25
Ближе: Свирель	26
Один сарацин	27
Говорит милый Индрик	28
О блюде	29
Говорит милый Индрик: Стена	30
Четвертая пещерная сказка	31
Ближе: Музыкант	33
Дальше: Колодец	34
Пятая пещерная сказка	35
Ближе: Мое разужерие	36
Шестая пещерная сказка	37
Говорит милый Индрик	38
Ближе: Брат Андрей	39
Говорит милый Индрик	40
Дальше: На сене	41
Ближе: Рыцарь Гийом	42
Дальше: По пути в Рим	44
О ловушке	46
Ближе: Настоятель Святоша	47
Ближе: Полина	48
Седьмая пещерная сказка	50
Ближе: Мертвое тело	51
Восьмая пещерная сказка	53
Ближе всего: Я живой	54
Два старичка	56
Додик в поисках света	57
1. В потемках души	57
2. Утренняя звезда	64

Конец ознакомительного фрагмента.

70

Милый Индрик

Андрей Лазарев

© Андрей Лазарев, 2017

ISBN 978-5-4485-6310-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Моим любимым родителям посвящается

Милый Индрик

Нелепые хроники древности, состоящие из воспоминаний некоего спившегося в своей келье отшельника, пещерных сказок, вставок и выписок из разных книг, а также рассуждений чудного зверя по имени Индрик.

Дальше всего: Я живой

Не помню, кто это рассказывал. Может, старый кузнец, который помер задолго до того, как я повзрослел, а, может, один из тех бродяг, что охочи до посиделок в натопленном доме и ради них вечно плетут невесть что. Помню только мшистую бороду, и как рассказчик бросал тоскливо-жадные взгляды на печь, где мать ворочала горшками – что не пристало богатому, сытому кузнецу, так что наверняка это был зимний паломник-шатун.

Рассказывал он про древних отшельников на нашей земле. Будто бы попал один гуляка ночью в лес у дальних гор и набрел на полухижину-полупещерку. Дверь была приоткрыта, парень и заглянул. И увидел дедка-коротышку, который сидел на лавочке, что-то пел и светился. Сам светился, от кожи шло такое неяркое, тихое, ласковое сияние. Парень чего-то перепугался, обмер на месте, да так и заснул у порога.

А на утро дедок его стал трясти за плечо. Он глядит – старик как старик, в каких-то лохмотьях, не светлинки. С того гуляки робость уже сошла, только холодно было. «А как ты, – спрашивает, – батюшка, ночью сиял?» Дедок только смеется, поест зазывает. Но парень разозлился, плюнул и ушел восвояси.

Тот, кто рассказывал, все напирал на то, что вот мол, живет святой, ночью его никто не видит, днем не замечает. И что толку с его сияния? Один сидит и светится, безо всякого для людей проку. Зачем?

Мне-то сразу стало понятно, зачем. Не услышь я того рассказа, никогда бы не очутился здесь, в своей пещере, да еще такой, что не выйти не войти. Только окошко вверху, в две пяди шириной, чтобы пищу просовывать.

Говорит милый Индрик

Когда уложили последний камень, все почтительно замерли. Из пещеры донеслось твое бормотанье.

Подпасок Козява, по своей вечной глупости, вздумал проверить, как поживает затворник, и проворно вскарабкался к отверстию для еды. По каким таким архитектурным соображениям его сделали наверху, неизвестно. Козява даже просунул в отверстие руку – видно, для вящего ощущения чуда. Тут же разлапистый огромный кузнец стащил дурика вниз за порты и взгрел по заднице, приговаривая: «Сы-рая клад-ка, сы-рая!»

Бывший при сем настоятель монастыря, из которого ты удалился в затвор, подпаску ничего не сказал, а только пару раз наставительно стукнул посохом по стене.

«Молится», – наконец, определил кто-то из толпы.

Все разом закивали. Приходской священник, видимо, решив поразить всех своей ревностью в вере, бухнулся на колени.

Места у вас очень глухие. Отшельников давно не водилось. Как еще отметить начало духовного подвига?

Чуть-чуть потоптавшись, поселяне разошлись, в голос прикидывая, какую награду в лучшем мире они заслужили тем, что столь богоугодно тебя затворили. Ты же, едва помолвившись, стал осматривать камни напротив стены: оттуда тянуло ветерком.

Первая пещерная сказка

Некогда бальский епископ вздумал обратить в свою веру довольно далеких язычников. Захватив с собой одного преданного слугу и двести не слишком преданных, он тронулся в путь. Пересек с десятков рек (некоторые на плотах, а другие так, бродом), дважды прошел через горы и, наконец, объявился в северном лесу, поросшем мхом и серыми, кичливыми в своей прямизне деревцами.

Язычники гоняли с место на место мохнатый скот, строили земляные дома, верили в молочное море и поклонялись самому серому дереву – целая роща тех, кто подозревался в близости к идеалу, была увешана цветастыми тряпками и разным ненужным скарбом.

Слова епископа переводил беззубый урод, найденный по дороге. Язычники согласились, что и самое серое дерево кто-то да создал и, следовательно, власти у такого творца будет побольше. Они стали готовиться к переходу в христианское состояние.

Потом им что-то не угодило. То ли ухватки двести одного епископского слуги, то ли странное предложение самого святителя отведать плоти и крови нового бога. Христову веру сочли зловредной и людоедской, а крестителей порешили побить.

Едва завидев толпу из угрюмцев с дубинами, двести неверных слуг бросились развешивать в священной роще свои манатки, а епископ, ведомый последним слугой, устремился к некой пещере, уже давно обустроенной предусмотрительным малым. Пещера была расположена так, что стоило завалить чуть-чуть вход, и он делался незаметным. Строптивые язычники пронесли мимо. Особо мстительными они не были, и на дальнейших поисках людоедов не настаивали.

Епископ со слугой зажгли пару свечек, тихонько перекусили в своей пещере, горюя о неспасшихся душах, и слуга двинулся отваливать камни обратно.

Тогда прозвучал голос.

«И что вы тут делаете?» – спросил голос.

Слуга обмер на месте.

«Ищите что-нибудь? Источник? Сокровище? Все что-то ищут. Может, меня?»

Епископ нашел в себе силы: достал из-за ворота крестик и завел гимн дрожащим голосом.

«А, вы попеть сюда забрались», – понимающе произнес голос и более не звучал.

Епископу посчастливилось благополучно добраться до обитаемых христианским народом мест. Все это он изложил в письме к папскому нунцию, как раз направлявшемуся в Рим. Судя по всему, послание не дошло до Святого Отца.

Ближе: Оглядывание

Усталый странствующий человек оглядывает постоянный двор – вроде тихо? – после долгих блужданий по диким местам; так и я. А другой пробегает взглядом корабль перед плаванием в дальние страны, прикидывает, как-то будет в пути, весь кипит внутри, веселится; и так я тоже. Тороплюсь, не могу подождать. Зажег лыковый фитилек у светильника. Кто-то руку просунул в дыру, но я туда не смотрю, нечего мне оттуда теперь дожидаться, здесь не терпится осмотреться. Такое мое смирение было...

Хотел узнать. Не хотел ничего пропустить как, откуда, из чего, из какого такого соединения темноты, молчания, постничества, одиночества, страха, надежды, телесных томлений рождается внутренний свет? Отчего берется чистота в обычном человеческом существе, и оно становится святым, помеченным Богом?

Внешний мир, тот меня ничуть не влек. С детства я тосковал, глядя, как суетно, мелко и в полудреме проходит жизнь у тех, кто меня окружал. Думалось, что любая человеческая работа – нечто тварное, пропитательное, такое бесцельное, бесконечное, по имени «ворошение праха». Только за необходимость я ее принимал; без всякой радости; когда, скажем, отец пел у гончарного круга, как мне хотелось подбежать, крикнуть ему прямо в ухо: «Очнитесь, опомнитесь, батюшка! откуда веселье? отчего вы поете? здесь нужда, пот, тягость и стыд...» Ведь отец был стар, и почти что богат, мог сидеть со мной рядом, где-нибудь у обрыва, и тянуться мыслями к скрытому. Он вращал круг ногами, как будто шел, и казалось, все так и провертится, вся жизнь пройдет, а в конце выйдет просто горшок.

Я видел ничтожность, нечистоту, злобу, муки и кровь – как я мог доверять человеческому миру? И лишь я услышал, что можно узреть что-то другое, во мне уже не осталось и песчинки тяги к обычным занятиям.

Наше село хоть и стоит на самой окраине, потому что за ним уже горы, но день-деньской голосит кто-то бесом – бежим волков побивать! соседей мутузить! а на ярмарку! или свадьбу! а то соберемся и завоем толпой под визжание скрипки, про то и про се! да и в пляс...

А как сладко, как заманительно писано святыми отцами о Божественной благодати, о силе чудотворения! Но больше всего: поучения Старца. Еще ребенком я подходил к монастырской стене, и затаивался в кустах; думал, может, он выйдет случайно? И стоило чуть-чуть подождать, как он появлялся. Вроде бы по хозяйственной надобности – монастырь у нас маленький, и Старец был и наставником всех послушников и келарем. Только потом я узнал, что он выходил ради меня.

Я, пока к монашеской жизни не привык, все трепетал от боязни, а ну как что-нибудь меня отвлечет, уведет в сторону от моих поисков. Герцог постоянно собирал ополчение и двигал его на соседнего герцога, настоятель то и дело затевал новые сооружения, кто-то пекся о приобщении прихожан к жизни монастыря, даже послушники мнили, что они несут некий свет своей пастве – из сельских мальчишек, с которыми они тайно удили рыбу или таскали незрелую репу. Я только видел, как неуклонно они движутся к смерти, печалился и боялся сам опоздать.

Говорит милый Индрик

Конечно, я приглядывал за тобой. Кратко скажем, твоя история разворачивалась так: сперва построили стену, и ты долго помещался в большой камере; дорасщивал бороду. Потом судьба дала заворот – ты пропер по пещерному лазу влево, почти до упора, а оттуда по загогулине еще раз влево, сделав в точности два полукружья. Образовалась фигура ровно в форме женской груди на птичий взгляд, или как две тесно сомкнутые коленки. Омега! Конечная буква. Знал бы ты это, обязательно призадумался: как так омега? Почему же – омега?

В хвосте второго пещерного завитка обнаружилась камора меньше; ты бежал по галереям раз по двадцать на дню. О наступлении дня ты узнавал по лучику света в большей камере или по шаркотне ног бывших односельчан, слышимой почти каждый утро во втором закутке.

Ближе: Открытие второго крыла

Я вскоре заметил, что противоположная стенка пещеры, которую я как-то всегда считал сплошной – да и какой же еще, если за ней должна была начинаться скала – имеет щели, из которых с явственной силой дует на пламя светильника. Поискав немного, я обнаружил, что это вообще не стена, а нагромождение глыб, словно там, в глубине, есть еще одна пещера, где до меня уже скрывался затворник, а камни – остатки другой, древней кладки.

От этой мысли мне стало страшно, и я даже отпрянул, и прижался к другой стене, за которой по-прежнему каждый день ожидали чудес, и сопели, и чесались, и даже шепотом переговаривались мои милые, такие родные, такие домашние односельчане... Это придало мне сил. Я взялся за один выпирающий камень, под которым щель была больше всех, чуть надавил, потянул за край на себя – и он отвалился. За ним действительно была пустота – еще одна келья! Я был прав.

Снаружи раздался вздох изумления – они услышали, как упал на земляной пол с глухим стуком отваленный мною камень. Тогда на меня напало странное раздражение – хоть я и знал, насколько это чувство грешно и мелко, и нечисто. Это было в первые дни моего заточения. Я промолился весь вечер и ночь, до куроглашения и далекого колокольного звона: в монастыре сзывали на утренний капитул.

Потом я вновь принялся за работу. Больше не один камень не поддавался моим усилиям. Но и сквозь этот узкий провал можно было видеть, что там есть большое пустое пространство.

Вторая пещерная сказка

Один сарацин, черная морда, взятый герцогом в плен при Толедо – а потом чистильщиком на конюшню, проезжал в составе свиты по нашей деревне, опрокинул чарку вина у кузнеца, посетовал на суровость Аллаха в этом вопросе, и рассказал такую историю: был мудрец Ифлатун, и придумал пещерного человека. Ифлатун был чернокнижник, и человека сделал совсем без души, слепил наспех из глины для баловства. А как набаловался, отвел человека в пещеру, и привязал к столбу спиной к выходу.

Ифлатун вскоре умер, а человек был бессмертный, он все стоял. Снаружи шла жизнь, птицы чирикали, деревья росли, солнце светило и дождь проливался, а стоящий глядел только на тени, что ходили по стенке, и даже забыл, что есть что-то другое, кроме стены и теней. И ни есть, ни пить ему не было нужно. Так бы и простоял он до Второго Пришествия, да вдруг заскучал.

К тому времени и веревки подгнили. Человек-горемыка повертелся, потянул веревки, да и освободился. Но, отойдя от столба, он побежал к той самой стене, где были тени: про выход-то он забыл! Послужил палец, потер эту стену – э, а тени стали поярче! Он стал тереть посильнее, нашел камешек, стал шлифовать.

Прошла еще сотня лет: получилось зеркало, потом рядом – другое... То, что было снаружи пещеры, стало менее видимым. Зато, превратив всю стену в зеркало, и отступив к родному столбу, он увидел себя! Он принялся за пол пещеры, потом как-то натер потолок.

Со всех сторон – только он! С горящими от восторга глазами, высунув язык, расставив ноги, бедняга с усердием отделывал зеркала. И больше он ничего не увидел, и так остался в этой пещере, смотреть на себя, потому что мудрец Ифлатун давно умер, и некому было развернуть пещерного человека лицом к выходу.

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Сидел как-то Любящий в одиночестве под сенью красивого дерева. Проходили мимо того места люди и спросили Любящего, почему он один. И ответил Любящий, что остался один, как увидел их и услышал, а раньше был он вместе со своим Господином.

Ближе: Молитва

Мне кажется, что я молился с самого младенчества. Не языком и губами, а чем-то внутри, и не я сам, а что-то во мне. Я уверен, что и в детстве было так же, как и сейчас: сильная, горячая рука постоянно сжимала там, где кишки, и вдруг выдавливала и гнала вверх, к гортани полуслова, полуволны чистого жара. Потоки слез бежали за ними вдогонку. И почти без перерыва меня преследовала мысль о Творце, вернее, об изнуряющей меня жажде познать Его, познать иной, нетварный мир, мир чистого духа и света. Малым ребенком, едва научившись ходить, как рассказывал мне отец, я порой начинал вертеться на месте, подпрыгивать и стонать – это было от жара в кишках, и только когда я вошел в монастырь, жар сделался не столь мучительным, а я поспокойней.

Из всех молитв мне нравились самые короткие, но из всех служб – самые длинные. Но волны жара, слова, выбегали наружу, а света все не было. Как в плохое кресало, кто-то бил мне в нутро, высекая искру за искрой, но пламя все никак не занималось, и пук соломы, тело мое, все не вспыхивало, хотя становился горячим. Братья подсмеивались надо мной, а Старец качал головой, но не корил, ничего не указывал, а молчал. Помню, однажды ночью, когда мы молились вдвоем по разрешению настоятеля, и меня опять прошибли слезы, и тело мое так раскачалось, что плечом я сильно толкнул Старца, он схватился от боли за щеку, а потом вскочил, вздернул на ноги и меня – никто бы мне не поверил, что в нем еще есть столько сил! – и стал тормошить, молча, впившись мне в глаза взглядом, а потом заставил прочесть всего отца Иоанна из Дамаска, и год я читал его по строке, но ничего так и не понял.

Затворившись в пещере, многие месяцы я просто сидел на жесткой подстилке из сложенной мешковины, молился и в голос и молча. Жара стало поменьше. Меня больше не кололо, и слез почти не было, но после молитвы я чувствовал себя совсем как щенок, попавший на незнакомый двор. Порой даже я сожалел, что решил затвориться: ибо и здесь после молитвы я не мог успокоиться. Моя риза протерлась о камни, и в первый год мне принесли еще одну, и куколь, и новые сандалии, но потом я написал, что нет нужды. От долгих сидений кровь застаивалась в ногах, и потом я уже не ходил по пещере, а ползал, и поэтому вместо ризы носил только покров на свой срам. Холод тревожил меня только вначале, и раны мои, зарастая, покрывались коростой.

Мне не нужны были монастырские правила: утренняя и вечерняя сливались в одно. И обитель, и деревня – обе достаточно далеко, верст не меньше пяти. Понемногу мой дух смирился, и после молитвы я оставался тих и покоен. Если бы не каждодневные посетители, меня нечему было тревожить. Но настоятель не зря говорил, что покоя сейчас нигде не найти: людей расплодилось так много. Иногда я прерывал молитву и думал о дальних землях, что за горами – из соседней обители, до которой я едва не дошел как-то раз, туда слали миссии. Однако, был бы там покой от людей? Людей, которые, что ни час, а тревожатся по новому поводу, и чей лоб к старости весь исписан заботами.

Нет, во всех людях есть этот жар. Не только во мне, а во всех Господь высекает ту самую искру. Не от людей я сокрылся, не от них я бежал. Все люди, и те, кто работают, и те, кто воюют, все мне милы. Я сам от рода людей, и те, кто молятся, мои братья и самые ближние. Часто в смятении я обращался к ним не словом, а помыслом, и лик Старца являлся во снах и он помогал мне советом.

Враг закрывает искру со всех сторон, не давая ей разгореться. Его руками она запрятана будто в горшок, обложена слоем плоти и чувств, и только глаза человека выдают ее присутствие в существе. Лишь неустанной молитвой можно раздуть ее до слабого огонька. Молитвенный дух тянет ее наверх, заставляет ее трепетать и метаться и стремиться наружу,

но в конце концов поселяет навеки где-то в правильном месте и надмевает, надмевает, надмевает, пока пламя не пробудится.

Господь Всемогуший, Творитель и Вседержитель, Отец мой Небесный, Слава Тебе! Твоею милостью, твоею всеблагостью, к концу восьмого месяца затвора, пламя вспыхнуло и во мне. Дальше, учил меня Старец: отступись. Дальше нет твоей воли.

АРТЕМИДОР: Одному человеку приснилось, будто он превратился в реку Ксанф, что около Трои. Этот человек почти десять лет страдал кровохарканием, однако не умер. Что и понятно: ведь реки бессмертны.

Дальше: Брат Андрей

Когда Старец ушел от нас, грешных, я уже год как принял обеты. А брат Андрей принял раньше и был помощником ризничего. Поэтому его и послали по монастырям нашего братства со «смертным свитком». Он путешествовал несколько месяцев, а когда возвратился, то свиток оказался в целых пять футов: все настоятели и даже четыре епископа писали на нем слова благодарности и утешения.

К тому времени я взял на себя и обет молчания тоже. Брат же любил говорить, и особенно – рассказывать. Старец учил нас не только читать и писать, но и говорить своими руками. Настоятель этого не одобрял, он говорил, что руками говорить слишком долго, и некоторые любители поболтать воруют у молитвы по два-три часа на седмице. Он щелкал костяшками на абаке, и все нам доказывал в числах. Уж лучше, толковал он, сказать с десяток словечек, если так уж приперло, да и за дело!

И брат предпочитал рассказывать мне словесно. И даже смеялся, когда я, в удивлении, переспрашивал. Помню, как меня поразило, что в один монастырь принимали и женщин.

«Женщин?» – спрашивал я, проводя от брови до брови.

«Какая форель?!» – фыркал он.

За время пути он изрядно забыл наш язык. Я спрашивал про парижскую школу.

«При чем же здесь суп? – он ухмылялся. – Новый келарь так увлекся сыроварением, что вы голодаете?»

А через три месяца, по епископскому благословению, он как раз и уехал в ту школу.

РАЙМОНД ЛУЛЛИЙ: Сказал Любящий Господину: Ты, наполняющий солнце светом, наполни сердце мое любовью. – Ответил Господин: Не будь ты исполнен любви, не были бы глаза твои полны слез и не пришел бы ты сюда узреть того, кто любит тебя.

Говорит милый Индрик: Водопровод

Как быстро с тебя сдуло все прежние признаки духоборца: лицо обмякло, спина, добродушно крикнув, разогнулась, а потом снова согнулась, но уже в очень удобную, не строго-страдальную луку. Ты стал невидим! И начал шустренько действовать; вот лаз проделал – ан нет, не пролезть!

Итак, чтобы в него протиснуться, тебе требовалось утончиться, или, говоря человеческим языком, похудеть. Что тянуло тебя в глубину? Бог весть, ибо только оказавшись в полузаложенной келье, постигаешь всю свою сдавленность.

Ты составлял достаточную худобу полтора месяца, многократно на дню пытаешься протолкнуть свое тело сквозь лаз. К твоему статусу постника все это шло: только вот вся округа подтаскивала снесь и вино.

Да, еще, вот что тебя так гнало в лаз: с дырявой стенки капало, раз по двадцать на дню. Вследствие постоянной жажды – а в ваших краях, хоть совсем и небогатых солью, каждый как-то умудряется запихать ее во все, что съедает, и от этого у вас вечно ломило язык, и вы все пили, пили и пили. Тебе вдруг пришло в голову, что не помешает как-то благоустроить этот ниспосланный Богом источник. И ты надеялся найти в глубине настоящий ручей.

Тебя подвела чересчур острая пища; так все в настроении определяет желудок. Тебе ведь несли и минестру, и рыбные пироги, и новый сыр «ангелочек», и даже пряные сахарные «ручки», что лишь недавно изобрели в германском краю!

Обследовав боковой ход, и выяснив, что в самом конце есть несколько слуховых щелок, ты преспокойно занялся ручьем. Он стал твоей первейшей забавой на многие дни. Зимой ветер дул в щели в дальней, малой каморе, и ее наполнял тихий вой.

Настороженные поселяне, заходя к тебе помолиться, прислушивались к далеким приглушенным хлюпам и гадали; кто-то вспомнил – откуда? – как от удара посохом забила вода – недоуменно приплели сюда и куст, хотя вот его-то и не было. Приходили чаще всего гончары – видимо, в память твоего отца.

Мысль уводилась в сторону вслед за причудливыми изгибами, исчезновениями и появлениями вновь тонкого ручья; поверх омеги писалось что-то еще, ты, конечно же, стал гадать – что?

Ничего не разгадал.

Занялся желобом. Вполне хватало того широкого в одном месте, наполненного терпковатой водой выхода ручейка, но тебя прельстила беловатая глина – «лунное молоко». Стыть и каменеть, она, естественно, не желала. Сколько масла ушло на просушку!

Смиренно-испуганные гончары снаружи могли бы посоветовать тебе, что лучше. При одной из неудач ты даже раздражено вскричал, яростно прищепывая по разведенной грязи; они в ужасе разошлись.

Помог навоз; после очередного исступленного монолога из глубины сердца, которым наслаждалась вся деревня (Святоша присутствовал, заворожено крутя седой башкой; уходя, наказал вина для причастия тебе не давать) – мальчишки очнулись от отупения первыми. Они поняли так: святой не святой, а прощелыга! Закидать мошенника дерьмом сей же час! Очень скоро и деловито был принесен целый чан. Блаженно покатываясь по земляному полу, ты услышал странное хлюпанье; большую камору начал наполнять гадкий запах. Спасшись в малой и протрезвев, на следующее же утро ты взялся за просушку. Дело тронулось с мертвой точки: скоро желоб был готов. Протянутый от середины второго крыла, победно пройдя по всем выступам, он снисходил к главной келье. Здесь можно было подставлять под струйку горшок.

Дальше: Наша деревня

Старец однажды разговорился.

Расскажу я вам, дети мои, откуда взялась наша деревня. Я, говорит, вычитал в древних книгах. Это он только называл ее «наша». А так-то все помнили, что он пришлый, ну, старец, известное дело! Откуда, мол, в нашей-то глухомани своим святым взяться. А брат Андрей как про книги услышал, словно конь, встрепенулся. Еще тогда он любил буквенные дела.

Раньше, говорит Старец, никто тут не жил. Место уж больно несладкое. Кабы вашим гончарное дело так не задалось, ни за что бы не удержаться. Сами знаете: горы, земли под пашню немного, самим едва хватает, чтоб прокормится. Гонять скот по лугам – хлопотно, да и травы не больно богаты... Никто здесь раньше не жил. А жили неподалеку, пониже, там, откуда мы, монастырские, нынче камни берем из развалин. Богатая там была деревня!

Но все сплошь жили еретики. Лет сто назад много еретиков не только там, но и вообще в наших краях проживало. Страшные были люди, все толковали, мир делили на части: одна, часть, дескать, от Господа, другая от Сатаны. Еще толковали, что – вымолвить страшно! – от Господа в нашем мире совсем немного, ну, может, пара молитовок осталась, а остальное все от Врага. И до того они в своем грехе-то окрепли, что все отрицать повадились. Детей рожать, говорили, от Сатаны, плотское дело. Жены с мужьями никак не встречались, почти что отдельно жили. На праздниках веселится – нельзя, от Сатаны, песен петь – тоже! Службы служить – мол, все не те службы, а сатанинские. Свои выдумали, свои книги писали. Ну, Церковь терпела-терпела, присылала пастырей добрых, а они пастырей убивали. Вообще, говорили, раз мир сатанинский, то поскорей с ним кончать надо, тогда, может, Господь о нас, горемычных, и вспомнит. Страшные дела творили, говорить даже не хочется!

Погоревали о них разные государи и святые отцы, да и послали оружейных людей, ересь искоренять.

Бились они, точно лютые звери, когда мечи ломались, когтями и зубами дрались. Ну, и вывели почти всех. Мужчин точно всех вывели, до единого, они и не скрывались-то больно. Кого взяли с оружием, того тут же жгли. Баб пощадили и детей малых тоже.

Стала деревня их вся сплошь бабская. А для решения окончательного, прислали сюда двух каноников, разбираться. А они как разбирались? Идут по деревне, где видят тоску и печаль, там подозревают. Где песен не поют, их сомнение берет. С другой стороны, чего тем бабам-то веселиться – мужей всех поубивали. Но каноники по-другому тогда разумели. И нашли они способ простой, как веру тех баб проверять...

Брат Андрей тут заелозил, очень ему хотелось узнать, как еретики распознаются.

Что, спросил Старец, малый, интересно тебе. Ах-ты, ах-ты... И завздыхал. Ну, так слушайте. Помните, я про еретиков говорил, что все простые, человечьи дела они осуждали? Все плотские осуждали? Святая Церковь тоже толкует, что особенно на плоть-то внимания обращать и не нужно, но плодиться и размножаться нам Господь приказал... В общем, ходили два этих каноника по деревне, какая баба у них подозрение вызовет, они к ней. Так и так, ты теперь безмужняя, давай ложись с кем-то из нас. И если та вдруг хмуриться начала, отнекиваться да отказываться они – цап! – и нарекали ее еретичкой. И свозили их всех куда-то, и жгли наверно, в столице. А другие, кто соглашались, значит, не еретички. Значит, признают, что мир не от Сатаны.

Брат Андрей удивился. Странное, говорит, то дело было.

Старец с ним согласился. Да, очень странное. Так всю деревню и прорядили. Кто отказом ответил – те сгнули, остались одни такие, что на их призыв отозвались...

Тут Старец расплакался.

А потом продолжал.

Осталось в деревне той двадцать или тридцать баб, а через год у всех родились ребятишки, снялись они с места, да и сюда перешли. Чтобы жизнь начать новую. Вот откуда деревня ваша произошла. От тех баб и двух каноников. Они – ваши пращуры.

Ну, коли те женщины святой церковью не были осуждены, значит, не еретички, сказал брат Андрей, побледнев.

Так оно, наверное, так, согласился наш Старец.

Говорит милый Индрик: Подслушивание

Тебе было хуже, чем человеку мудреца Ифлатуна: ты не видел теней. Ты исключительно слышал. Тебя это увлекало. И отвлекало, помогая побороть страх, подступающее отчаяние и всегда бывшие рядом сомнения.

Вот что ты услышал в первый месяц: ничего интересного. Дважды за один день некая простушка крикнула: «Ах!» проходя около твоих дыр для слушанья. Судя по тому, как чувственно она ахала оба раза, ее тискали весь путь мимо твоих галерей – совершенно ничего интересного! Однажды старик-настоятель, уходя от тебя в монастырь, остановился у дальней дырки – ты напрягся, вот он скажет что-нибудь важное! – а он важным голосом окончил начатую ранее фразу: «...и набрать яблок побольше». Бывший с ним послушник утвердительно и слегка задумчиво угукнул.

Никто не удосуживался постоять у твоих слуховых окон дольше. Все торопились. Незачем перечислять все пыхтения, которые издавали твои односельчане, по пути к основному окну, от него же – уже подав тебе корзину с едой и вином и отслушав твои слепеческие поучения.

Гораздо занимательнее были разговоры последующих месяцев. Например, приходили два вора и шептались прямо рядом с тобой. Темой беседы было плохое качество местного пива – оно им очень не нравилось. И вино пришлось не по вкусу. Здесь ты был хоть и молчаливо, но сильно с ними не согласен.

РАЙМОНД ЛУЛЛИЙ: – Скажи, безумный, что есть этот мир? – Ответил: Темница для слуг любви, слуг моего Господина. – И кто запирает их в темницу? – Совесть, любовь, страх, отречение, раскаяние, злые люди и труд без вознаграждения, и наказание.

Говорит милый Индрик

Началось все так. Очередной горемыка отправился с корзинкой снеди и бутылью вина к пещере, а вернулся в крайне задумчивом состоянии.

«Отшельник заговорил, – сообщил он жене. – Тоненько так, с хрипцой сказал: Не носи больше соли...»

«Во-о, – протянула жена простодушно, и хлопнула своего сынулю по голове, как огромную приставучую муху. – А чего ему соль?»

Новость скоро дошла до настоятеля. Пригорюнившись, твой старичок собрался к пещере. «Сыне!» – воззвал он.

А в ответ услышал раскаты басовитого смеха. С вхлипываниями, пришепотом и переживаниями. Настоятель опечалился.

У тебя как раз разбился кувшин. Ты выкрикнул что-то неразборчивое, старичок напряг слух. «Ну и жизнь, – сказал ты, – ну и жизнь. Все пролилось».

Ближе

Месяцы проходили один за одним, уже миновало две зимы, и две весны, а селяне исправно приходили к моей пещере за благословением. Каждый желал поделиться со мной своей бедой, и каждый нес мне еду. Я написал, чтобы носили лишь хлеб, сыр и вино. Тогда носить стали и этого много. Вино слали и из обители: с травами, пряностями, а вдобавок еще и пиво, и сидр! И вот как-то раз я захмелел.

Моим глазам внезапно представился яркий свет, такой же, какой, должно быть, представлялся Моисею на горе Елеонской – то есть, меня еще тогда поразило, что ведь я пьян, просто пьян, как любой усталый пахарь, добравшийся до таверны – а вижу то и так, как удостаивались немногие святые. И хотя воспоминание о моих долгих молитвах подсказало мне, что может быть, и я оказался достоин... Но длилось это недолго, потому что почти что сразу я впал в сон – вероятно, в такой же, как и большинство все тех же мужиков в таверне. Проснувшись, я понял, что хочу вновь испытать этот свет. А спустя месяц или полтора я вдруг понял, что же со мной произошло.

Я не смирился, нет, я озлился и стал потреблять причастное вино в еще большем количестве, чем прежде, когда мне чудились откровения в пьяном бреде. И вскоре прославился еще больше. Ибо теперь, в своей злобе я стал ненавидеть собственных земляков и охотно беседовал с ними, но, не осмеливаясь отвечать иронически на их простодушные вопросы, ОБРАЩЕННЫЕ НЕ КО МНЕ! Нет, меня хватало лишь на то, чтобы по чуть-чуть, помалу, показывать им, что я вовсе не тот, за кого меня принимают.

Но я заговорил! После пяти лет молчания. Я отвечал злым голосом, молол всякую ерунду, и понемногу люди начали проникаться ко мне если не отвращением, то подозрением. Зачем я это делал: я как бы мстил самому себе. Я унижал самого себя тем, что заговаривал с ними. Что грубо высмеивал их, дерзил и даже иногда почти богохульничал. А до каких черных мыслей тогда я дошел! От каждой меня бросало в дрожь. Я боялся, что Он, Он сам ее может услышать – и слышит, наверняка! И прощает... ради чего? Или же не слышит, или же ему все равно, как я мучаюсь, или же это и есть те самые мучения, очищающие душу, о которых я так много слышал, но, которые, оказывается, представлял себе совершенно другими?

И в конце концов я придумал страшную вещь.

О пьянстве

Как считал отец Цезарь из Арля, «Пьянство есть сатанинство и ввергание самого себя в адскую пропасть». Пьянство, указывал другой святой отец, есть грех сильно распространенный, но оттого не менее тяжкий.

РАЙМОНД ЛУЛЛИЙ: Искал Любящий благочестия в горах и на равнинах, дабы увидеть, служат ли Господину его, и повсюду обнаруживал он слишком мало благочестия. И тогда вскопал он землю, дабы там найти его в избытке, но и в земле благочестия недостаточно.

Ближе: Двойник

Несколько раз мне чудилось, что в малой каморе сидит мой двойник. Путем стремительных пробежек, стоивших мне десятка болезненных, тут же увлажнявшихся кровью ссадин, я уверился: никого. Потом меня озаботили другие мысли: а как возникла столь странной формы пещера?

Может, ее прорыли два брата гигантских червя, стараясь добраться один до другого и тут же вцепиться в глотку; или просто некой подземной реке приспичило выйти наверх, выписать столь многозначительный знак – и убраться опять в глубину?

Мне удалось убедиться, что никакого двойника рядом нет. Хотя иногда я и думал с испугом о том, кто жил здесь до меня – все-таки малая камора была так похожа на келью! – гораздо больше меня тревожила другая мысль. Наваждения! Я чувствовал, что они последуют дальше. Каких еще искушений приберег для меня Враг? Что может привидеться? Кто, если не мой двойник, может явиться ко мне? Этот страх нередко заставлял меня бросать молитву. Этот страх держал меня в постоянном ожидании. Но понемногу я успокоился.

Третья пещерная сказка

Как-то один звонарь, дюжий мордастый парень, только чуть-чуть глуховатый, вздумал сойтись с дочерью кузнеца. Девушка тоже была не против, но хотела, чтобы ей хоть чуть-чуть, да досталось мужской куртуазности. Стали они вместе гулять, по лугу, по лесу, вдоль речки. Звонарь, как умел, говорил ей красоты да любезности, цветы луговые ей охапками подносил. Но стало, наконец, и ей невмоготу. А так как отец у девушки был мужчина суровый, они взяли да и забрались в старую каменоломню. Там хоть было темно, да зато их никто не видел, хоть и холодно, но зато был лишний повод обняться.

Шептались, ласкались, хихикали, а потом давай миловаться. И так разошлись, что глуховатый звонарь от страсти чуть ли не быком ревет, девушка под ним визжит, что есть мочи, эхо по пещере разносится, камни дрожат!

Час любилась, другой, и все с криком и ревом. Вдруг сквозь свой любовный туман слышат: сдвинулось что-то тяжелое в глубине, клацнуло будто железом по камням и суровый голос спросил:

«Пора?»

Звонарю недосуг было прислушиваться, кто там шумит, он подругу свою посильнее притиснул и крикнул в ответ:

«Нет, не пора!»

И снова за дело. Из глубины в другой раз клацанье, шорох, и – тяжелые шаги раздались. И опять прозвучало, еще страшнее, как будто какой злой дух вопрошает:

«Пора ли мне подниматься или еще не пора?»

Тут и девушка и звонарь испугались – кто это там, такой жуткий, их нашел – и замерли. Слушают: шаги все ближе и ближе, грохочут, будто целое стадо идет, и появляется рядом с ними, в просвете между камнями – голова, в старом, ржавленном шлеме, лицо все в морщинах, обросло такой бородой, что ничего ниже не видно, и в глазах – что-то дьявольское. И сам человек огромный, раза в два крупнее звонаря, и лезвие меча в отверстие между камнями проглядывает, такого, что втроем не поднять.

Поглядел на них призрак сурово, глазами сверкнул, покачал головой. И снова:

«Пора?»

Звонарь от страха задрожал да заблеял, девушка дар речи потеряла и чувств лишилась, а тут из глубины, откуда призрак пришел, раздался ласковый голос:

«Не пора, мой король, спи еще!»

Бородатое лицо отодвинулось и исчезло, шаги прогрохотали обратно, меч упал наземь со звоном и прозвучал долгий, тоскливый вздох.

«Спи, мой король...»

Звонарь осмелел, подхватил подругу свою и побежал, что было сил, наружу из каменоломни. Только раз оглянулся, и увидел, что из отверстия того самого льется невиданный, ласковый свет, и промелькивает в глубине кто-то мягкий, звериный, и баюкает короля тихой песней.

ХРАБАН МАВР: Все, что мы произносим, или все, что движется внутри нас, в соответствии с пульсированием наших сосудов согласовано музыкальными ритмами с совершенством гармонии. Ведь музыка – это наука хорошей модуляции. Так что, если мы хорошо ведем беседу, это всегда происходит благодаря поддержке этой науки; когда же возникают трудности, это свидетельствует об отсутствии музыки. Так же небо и земля, и все, что на них происходит высшим соизволением, все связано с музыкой.

Ближе: Свирель

Я много играл на свирели. В начале, в первые месяцы я сочинял гимны. Сперва они поднимались откуда-то из глубины меня, потом, прожив чуть меньше года в темноте, я вдруг ощутил, что изнутри ничего не идет. Испугавшись я взывал к Господу и ко всем архангелам и тем святым, которые были почитаемы в известных мне областях... А потом я стал играть на свирели; пастушечьи песни. Давясь той скудной снедью, что уже с опаской несли поселяне, я начинал стыдиться. Потом вдруг наглел, поучал: почему-то именно те первые наигрыши казались мне оправданием: я играл! Поселяне, слыша звуки, неумело крестились, испуганно ойкали; наш настоятель увещевал. Свирель стала чем-то спасительным: тростничок с прожженными дырочками то рассыхался, то наоборот – зимой – как-то стыдливо сжимался; я все смазывал глиной. Получилась, наконец, тяжелая труба, которая утомительно держалась в руках и издавала сипливые звуки. Из поселян являлись теперь только двое, да иногда захаживал брат Андрей, заносил что поесть и назидал, убеждал меня в чем-то, в чем – не пойму. В конце концов, я забросил ее в угол; глина стала сыреть.

Один сарацин

Душа моя, как долго я был в разлуке с тобой,
Как долго я спал... Но плач голубиный
Меня разбудил и заставил рыдать.
Хвала всем скорбящим, проснувшимся рано!

Говорит милый Индрик

Уже тогда, когда вина для причастия тебе не полагалось, к стене приплелась нищенка и смазливая полудурочка Полина.

И сразу, для приличия пошуршав чем-то рядом с дырой, брякнула: мол, люди толкуют, что вы уже не человек. Мол, люди не знают кто – но это (крик) ...и будто бы нечистый (долгое время пыхтит и крестится) ...или в свинью.

Ты, как обычно, с радостью вынырнув из тягостных размышлений, принялся потешаться – смеялся весьма игриво (а что тебе было терять?) – мол, а она что пришла?

Да поглядеть.

Тут ты призадумался. Сам ты себя не видел, тебя тоже – никто. А вдруг?

Подлей масла вот, сказала нищенка. Голос ее был совсем рядом... и лицо непонятно каким образом скоро заслонило полщели. Грязное, но красивое. Серая шея.

Ты поднял светильник к своему, заросшему, покрытому разными струпами и царапинами. Ну?

Нищенка тут призналась, что раньше как-то не видела великого святого. А сейчас каково? Сейчас – очень жутко.

Раздался хруст камешков, Полина взвизгнула, и в дыре стало видно опять одно серое небо, заляпанное белесыми облаками.

Тут же явились какие-то сельские бурчуны и принялись распекать твою собеседницу. На пол шлепнулся ком дряни. Ты запихал руки в бороду, отсел подальше и начал думать: о серой шее и о том, как должен выглядеть человек, и впрямь одержимый злым бесом.

О блуде

Против блуда есть много средств: холод, терновник, трава волчец, бичевание. Святые отцы и отшельники постоянно испытывали искушение, но всегда преодолевали его во славу Господа.

Один пустынный Синая, прожив в келье с десяток лет, возжелал непозволенного. Из соседнего склепа к нему пришла пустынноца за водой. Разгорячившись мыслью, он бросился ее догонять...

Земля разверзлась, и некая блестящая фигура указала пещернику на поломанные и полусгнившие останки. «Вот все твои женщины. Можешь тешиться. Но все десять лет, что ты намолил, будут не в счет». Пещерник, конечно, передумал грешить.

Говорит милый Индрик: Стена

Рассказать тебе, мой святой ясноглазый, чем для тебя была эта стена?

В твоей келье их множество: своим разнообразием они внушают тебе отвращение. Только одна стена, та, которая, как ты знаешь, закрывает вид на крутую, вечно чмокающую от грязи, поросшую всякой сорной травой тропу, вот она, эта стена, тебе очень мила.

На ощупь кажется мягкой; есть плавные выпуклости и неглубокие впадины, чудится, будто камни, из которых ее возвели, гладило множество добрых рук. Однако гладил ее только ты. Особенно в жаркий день, когда стена делалась теплой, почти живой. Ты к ней прижимался, бегал по ней пальцами, терся боком, разгоряченный едва видимым солнцем и вином, пылкой кровью христовой. И, признайся, воображал, будто бы это не стенка, а, допустим, женщина или, – когда трогал там, где замазка покрылась трещинками, такими разбегающимися в разные стороны разрезами и бороздками – горячая шея зверя. Может быть, коня, гулко дышащего после долгого бега. Но чаще, видимо, женщина. Когда к пещере являлась Полина, то они слились в твоей голове: теплая стена и ее задумчивый голос.

Лучи солнца и пятна теней от облаков катались по неровному полу, переливались, сменяли друг друга. И даже когда вино перестали носить, ты продолжал радоваться.

Четвертая пещерная сказка

В готской стране, что на полудне, все это было. Нашли враги, как саранча – оттого и прозвали их потом сарацины, саранчиным народом – и стали страну разорять. Король готский в первой же битве погиб, по злему пророчеству, а все князья, кто по трусости, кто по жадности, к сарацинам на службу пошли.

Все, кроме двух или трех. Эти веру свою продать не захотели, с немногими верными им людьми в горы укрылись. А сарацины и там им покою не дали, не отдохнуть, не сил подсобрать – насаждают, проклятые. Что не день, то потери.

Наконец, князьям пришлось разделиться, и один, самый храбрый и молодой, встал с самого краю – первый удар на себя принимать. А жена его молодая, что с ним в горах высоченных скиталась, сына ждала. В одну ночь и князя, и все его войско сарацины убили. А княгиня в пещеру ушла, куда проход одна старуха, нянька ее, только и знала. Враги ее ищут, сквитаться хотят полным счетом со строптивыми готами – иной раз она их дикие крики совсем рядом слышала, когда они ущелья прочесывали.

Жила она хуже некуда, а все же в один день еще горше все сделалось. До тех пор ей пищу старуха носила, да померла. Пришлось ей самой в долину спускаться – то у голубей гнездо опустошит, то из готов, кто выжил, чем-то поделится. Только никому она не открывала, кто такая, боясь за ребенка, что под сердцем носила. Порой так голодала, что ночью к врагу в лагерь прокрадывалась, из котлов их походных что могла, то тащила.

Пришел срок, родила младенца. В пещеру свою нанесла что помягче и понежнее – пуху птичьего, перьев, травы снизу охапку, все пыталась сыну жизнь скрасить. А сарацины тогда как раз сильный урон от двух выживших князей терпели, и озлобились очень. Она еще глубже в пещеру ушла, и все ждала, выжидала, когда вниз можно будет спуститься. По первоначально молоко у нее в груди не оскудевало, мальчик и сыт был и доволен. Он в пещере как родился, так и оставался, и глазенки к темноте попривыкли, а сам без света дневного был белый как молоко...

Перебились так с год – мальчик уж ходить начал, о стенку пещерную опираясь. И очень чудесный был мальчик: во мраке, в сырости, уже и не в сытости – а все весел. День-деньской детскими словами песенки пел.

А однажды княгиня пошла опять за припасами – да и одежду какую-нибудь сыну найти – спустилась вниз и врагам в руки так и попала. К тому времени они снова повеселели – двух князей разгромили, не было им теперь никакого отпора в готской стране. Хоть и веселые, а своего упускать не хотели. В худой замарашке княгиню, конечно, никто распознать не сумел, да уж больно она им была подозрительна: держится гордо, откуда явилась, не рассказывает. И увели они ее, как рабыню – откормить чуть-чуть, и продать.

А мальчик, белый как молоко, дня два пропел – он привык уж к материнским отлучкам – а на третий задумался. Водицы горной попил, соснул немного и пошлепал к выходу, туда, куда мать всегда уходила. Выглянул – и с непривычки ослеп. Постоял-постоял, и все же стал чуть-чуть различать. Белым мир ему показался, по зимней студеной и снежной поре. Враждебный мир, одни кручи и ветер, и орлы выются в простуженном небе. Никому тот мальчик не нужен был, кроме матери, да ее далеко уж угнали.

Расплакался княжий сын, мать покликал, и вернулся в пещеру обратно. И сам он не видел, как от такой жизни и по заслугам своей невинности, от Бога особенность получил: светиться сам начал. От кудряшек его, от молочного тела сияние шло.

Побродил-побродил, и помирать уж собрался. Он, хоть и малый был, все понимал. Простую молитву, что мать научила, прочел. Только с прибавкой такой: «Господи, никому я не нужен, кроме тебя. Спаси меня и помилуй, и определи, как мне быть, потому что я сам

по малому возрасту и неразумию того понять не могу. Слава Тебе, Господи!» Произнес и лег на плоский камень, что ему кроватью служил – помирать.

А как проснулся, увидел сияние. Чудный зверь ласковый над ним склонился и произнес: «Не печалься, сын человека. Оба мы с тобой пещерные жители. Оба в глубины уйдем, своим светом светить, до тех самых пор, пока людям опять не потребуемся». И увел светлого мальчика за собой.

А через множество лет, его мать, в плену как старушка усохшая, воротилась – сына разыскивать. Поспрашивала людей – из готов, что еще там остались, и простых сарацинов, работников. Никто ребенка ее тогда, давно не находил. Никому до него не было дела. А только стал по ночам появляться у ворот местной церкви странный юноша, белый, как молоко, и светящийся, будто месяц небесный неяркий. Слов не говорит, стоит, стоит, на человека ночного помолится, подождет и уйдет...

Ближе: Музыкант

Как-то раз пришел человек к моей пещере и долго с ноги на ногу переминался, не говорил.

А потом незнакомым голосом старика заявил:

«Хочу тебя музыкой поразвлечь».

И раздались звуки, ужасные, да еще и не в один инструмент, а как будто во много. Уж на что их всех-то можно счесть на три в наших краях: рожок, горшок да лук со струной – а здесь звучало так плохо, словно их сделалось по меньшей мере двадцать разных.

Пять дней он приходил на рассвете и играл. На шестой я обратился к нему.

«Добрый человек, – сказал я. – Знаешь ли ты, зачем я здесь поселился? Я сам иногда играю на свирели, но признаю, что тем самым впадаю в малый грех, о чем полагается сожалеть. Если хочешь, давай поговорим... Кажется, так будет лучше тебе и мне. Ты так не думаешь?»

«Чего не знаю, того не знаю, – равнодушно сказал мне старец, когда отдышался после всех тяжких усилий, предпринятых с целью оглушить меня. – А только все меня гонят, а ты не можешь. Поэтому слушай».

Так мой мучитель завел привычку приходить каждый день и хотя не подолгу, но зато прегнусно терзал мои уши своими сельскими благозвучиями. Причем выбирал он то время, когда остальные сельчане не навевывались, да и не могли, потому что работали – мой старик, видно, бездельничал.

Однажды ему в отместку я сам рукой заколотил по горшку, думая перестучать; так он обрадовался, весело заголосил, я и разбил горшок. Через неделю мне брат Андрей принес новый из монастыря, и я за него молитвы вознес.

Старик еще долго продолжал приходить и лишь недавно куда-то делся.

Дальше: Колодец

«Ну, монашки, кончились сливки и сытная кашка, пора загриткам худеть, а вам за нас порадеть! Работать пошли!» – сказал нам с братом отец.

«С какой это, батюшка, стати? – учтиво спрашиваем мы. – И так в трудниках состоим при нашем монастыре, что вам известно, и за день, знайте, так бывало намучаемся, что и на вечерню нас не пускают... То сыр варить, то яблоки давить, то жир вытапливать, уж увольте...»

«Слушай ухом, а не брюхом! – злится отец. – Сушь в шею дышит. Скоро вся вода книзу сойдет. Будем рыть всей деревней колодец, как ваш монастырский. И с воротом, и с ослом – чтобы воду пускать в огород. Так что давайте, ртов не разевайте, рук не воздевайте, рясу в скатку и за лопатку!»

И зря мы упрямылись, вот как вышло. Потому что ничего веселей той колодезной каторги я не припомню. Отец по хромости лишь наверху зубоскалил, да от матери репу носил, а землю внизу мы кайлом отмотыжили, малолетки, да с десятков мужиков росточком поменьше. Даже на ночь в кельи не шли – так и бухались на солому у края колодца. Бабы подходили да охали, отродясь у нас таких колодцев не рыли, ну кто на заднем дворе дырку просверлит на один жаркий месяц, когда лень в горы тянутся с кувшинами, так разве сравнишь! Пятей в сто он вышел, не меньше. Щенок один наверху разбрехался, так его нам на голову скинули.

Потеха – не грех, это не страшно.

Потом я узнал, что нам вовсе не был нужен колодец. Это Старец попросил у отца, чтобы он увел нас домой из монастыря, и что-нибудь поручил. Зачем он так попросил, я не знаю.

Пятая пещерная сказка

Среди ходивших с Платоном по Саду был некий юноша с Крита, искавший повсюду благоволения богов. Испытывая особую страсть к чудесному, этот юноша часто отрывался от вереницы учеников, следовавшей за учителем, и бродил по окрестностям. Он лазил не только по скалам и бухтам, изучая морские приливы, но и по деревьям, которые показались ему примечательными и чьи ветви были способны выдержать его вес.

Услышав раз от учителя историю критянина Эпименида, который проспал в некой пещере пятьдесят восемь лет, а потом спас Афины от скверны, этот юноша объявил себя его родственником. Рассказывают, что после этого он обошел весь Лакедемон, ища кожу Эпименида, покрытую таинственными письменами, но не нашел. Однако с тех пор его заносчивость и горделивость поистине стала безбрежными. Так, он заявил, будто бы первый философ по имени Пифагор не спускался в критские Иды, а называл так собственный погреб, где скрывался все время от своей смерти до воскресения. Также этот юноша уверял, что нашел ту огромную яму, куда свалился и умер другой известный мудрец, засмотревшись на звезды. Он звал туда Платона и многих учеников, но никто за ним не последовал.

Многие верят, что в конце концов он нашел, что искал. В одной пещере выпив беловой воды, «лунного молока», он заснул, но проспал всего пять лет и три месяца. Проснувшись и выйдя из той пещеры, он застал все таким же, каким и оставил. Тем не менее, он стал всех уверять, что во сне разговаривал с Истиной и много раз, покинув собственное тело, путешествовал по миру налегке.

К большой досаде этого юноши, хоть его спину после пещеры тоже покрыли странные письмена, будто процарапанные когтем зверя, никто не пожелал эти знаки списать и даже просто прочесть. Сам он, как ни старался подладить медные зеркала, не мог их разглядеть.

Говорили также, что он пытался заниматься гаданием, но видел не будущее, а только прошлое, и лишь ускользнувшее от современников. Умер он в возрасте двухсот с лишним лет неподалеку от Рима, и к тому времени письмена у него на спине почти все стерлись и заросли. Тем не менее, его кожу не стали хранить, как кожу Эпименида, а по решению римских старейшин, сожгли вместе с телом.

АРТЕМИДОР: Одному человеку приснилось, что на голове у него выросла олива. Человек этот стал ревностным философом не только на словах, но и всем своим образом жизни, потому что дерево это вечнозеленое, очень крепкое и посвящено Афине, которая считается воплощением мудрости.

Ближе: Мое разуверие

Иногда мне казалась смешной сама мысль, что Господь может оказаться здесь, в этой стылой пещере.

А потом еще мнилось, что Господь и есть сама жизнь в том ее разноцветии, которого я и раньше так сторонился. В траве, в облаках, в ручье, даже в потертых сандалиях – но не во мне! Не во мне. Потому что я, забившись в эту нору, вижу только отчаяние. Оно заслоняет Господа, вытесняет его из меня – быть может, этого отчаяния – ничтожная часть, крохотная, песчинка по сравнению с Его великолепием и безграничностью – но надо же быть такому, что все время какие-нибудь песчинки попадают мне на глаза. И что, что мне делать теперь, ничего не нашедшему? Уйти из норы и наложить другую песчинку? Бросить монашескую жизнь? Завести другую, не менее и не более меня отстраняющую, отвлекающую, уводящую от Него?

А есть ли вообще та жизнь, которая к нему приводит? Не все ли дороги ведут к нему? Или такой нет ни единой? Может, все жизни отводят? А только то, что их роднит, в чем они схожи – все, до последнего пересчета... Но ведь это так мало, и так животно. И монах, и душегубец, и король – каждый дышит, ест, пьет и спит, и отправляет все, что надо, обратно в природу. Это то, что заложил в нас Господь во всех без пропуска. Неужели на этом – самый явственный Его отпечаток? В этом ведь жизнь и растительная, и звериная. Точно кажется, что ни ум, и ни способность истолковывать его слово, не приближают к нему?

Как мне приблизится к Господу, если молчит он в ответ на все молитвы?

Шестая пещерная сказка

Пока раздраженные, потные легионеры сбивали взрослых в шеренги и пинками гнали их к храму Артемиды и Цирку, мальчишки играли в камушки за огромным зданием Библиотеки. Только когда от Цирка донесся протяжный гул зрителей, они опомнились и заметались. Семеро бросились прочь от города и спаслись.

Эти семеро, пробежав не больше версты, уже запыхались и нырнули в пещерку передохнуть. Торопливо набросали камней, чтобы замаскировать вход. И только после этого, глядя расширенными глазами друг на друга, взялись за руки, и, сев на корточки, стали молиться и плакать. Потом, отдышавшись, намолившись, начали осматриваться. Малыш первым нашел родничок и позвал всех остальных. Они не спеша напились. Вода была какая-то странная, терпкая, тяжелая, она провалилась и легла в животах, словно камешки в реку.

«Вот так, и поспите...» – раздался вдруг тихий голос, похожий на шуршание.

Голос не то, чтобы обращался к детям – он сам с собой рассуждал.

«Это ведь лунное молоко, – объяснил он. – Поспите, отдохнете, а там, глядишь, все и образуется».

Ребята не испугались, а только поворочали головенками, пошептались и решили еще помолиться, по особенному, как учил их отец Игнатий из Самосаты. Голос больше не звучал. Думали было еще поболтать, даже расселись на камнях, но: «Спать! Спать!» – строго сказал тот же голос из мрака, и их тут же сморило. Так и заснули, кто где сидел. А когда все ребята заснули, кто-то пробрался к ним, пошуршал, повздыхал по-звериному, ткнулся в бок одному и другому, и, что-то ласково пробормотав, убрался обратно во тьму.

А дети, проспавшись, потянулись, протерли глаза, и решили узнать, как там снаружи. Отвалили камни, тихонько пробрались в город. И узнали, что прошло сто пятьдесят лет, и что вера Христова восторжествовала по всей ойкумене.

Говорит милый Индрик

В своей келейной стылости ты делил посетителей на два вида. И различал по первым словам. Если зывали к святому – это значило снедь и вино, если кликали беса, грешника, еретика, просто собаку – скорее всего, камни. Или навоз. Его притаскивали в корзинах мальчишки, воображая, что это очень смешно: закидать падшего коровьим дерьмом. Навоз, как ты вскоре выяснил, отлично горит в просушенном виде. Горит и пускает жирный, желтый, едучий дым.

РАЙМОН ЛУЛЛИЙ: Встретил однажды Любящий среди трудов своих отшельника, который спал близ красивого источника. Любящий разбудил отшельника и спросил его, не видел ли тот во сне господина его. Ответил ему отшельник и сказал, что пленены были любовью мысли его во сне и наяву. Очень обрадовался Любящий, что нашел он товарища по плену своему, и заплакали оба, ибо не много было у Господина таких слуг.

АЛКУИН: Что есть слово? – Предатель мысли. – Кто рождает слово? – Язык. – Что есть язык? – Бич воздуха. – Что есть воздух? – Хранитель жизни. – Что есть жизнь? – Радость счастливых, печаль несчастных, ожидание смерти для всех. – Что есть человек? – Раб смерти, гость места, проходящий путник.

Ближе: Брат Андрей

«Есть ли у тебя мышь в пещере? Поймай ее и посади в горшок. Смотри на нее и радуйся, что ты не мышь».

«По ночам меня леденит не холод и не снег, а множество мыслей. От них руки мои начинают дрожать. Глаза мои наполняются белым цветом».

«Я был таким же, как ты. Мои руки дрожали, они не могли ковать железо, плести корзины и молотить зерно. Мои глаза не могли больше читать священные книги. В устах моих замерзали слова молитвы и не выходили наружу. Я не знаю, куда мне идти, с тех пор, как я вышел из кельи. Когда выйдешь ты, я это увижу».

«Как ты сможешь увидеть?»

«Церковь – голова человеческого мира. Каждый из нас, и ты и я – ее волосы. В чем разница между одним волосом и другим? Я увижу, что сделаешь ты, когда узнаешь, что идти тебе некуда. Когда ты насмотришься на облака, и наплачешься над травой».

«Так сломай эту стену. Выпусти меня, брат Андрей. Я не знаю, куда я пойду, но я не хочу умирать».

«Нет. Потому что тогда ты будешь спрашивать у меня, куда стоит идти. Я сказал отцу-настоятелю, что пора тебя затворять навсегда. Скоро придут гончары и заложат камнями отверстие».

Говорит милый Индрик

Впереди перся отец-настоятель, а за ним целая торжественная процессия из монашеской братии и гончаров. Настоятель, старчески скрипя и прокашливаясь, огласил письмо от епископа: «Еретика должно заложить камнями до смерти, дабы неповадно было прочим грешить гордынею. Ибо что есть аскеза, как не прелесть для неискушенной братии? Замуровать надлежит в Константинов день, а до той поры пещеру окуривать и молиться за душу павшего брата. Еды ему не носить.»

Приходской священник, как всегда, недопонял, о каком таком искусе пишет епископ. А та солдатка, что досаждала тебе своими сопливыми чадами и вопросом, когда же вернется хоть один их отец, прониклась злейшей мстительностью и завопила: «Лишь бы мой муженек воротился до Константинова дня! Уж он-то камешки уложит, так уложит!»

Но, кстати говоря, большинство твоих односельчан опечалилось. Нет, мол, у них, теперь заступника перед богом. И так жизнь тяжелая, а еще святые спиваются.

Ты все это проспал, поэтому я тебе и рассказываю.

Дальше: На сене

А луг у нас был один на всю деревню, зато большой. С одной стороны – крутой склон Молельной Горы, со второй – Петельный ручей, ну а с третьей – река Играйка, неширокая, но очень быстрая. До того она весной вся бурлила, что по берегам ничего не росло, ни деревца, ни кустика, только к осени трава поднималась. На этот берег наши обычно стаскивали сено, и перевивали его ивой с ручья, в шалаши заделывали. Как густо пахло цветами в таких шалашах! И клевером, и ромашкой, и дикими маками! И часу не пролежишь, а уже – глядь, о чем-то гредишь.

Старец нас отпускал туда, когда для послушников в монастыре работы никакой не оказывалось – редко, но отпускал.

Лежим, однажды, и вместе мечтаем.

С нами еще часто ходил Гийом, сын богатого гончара, он как раз на том лугу пас стадо отца. Толстощекий, глазастый, и говорливый – ну словно петух! Бывало, едва к монастырским воротам из келий подойдем, он уже заливается! А уж в сене когда лежал, то совсем одуревал.

Слышал я, говорил этот Гийом, есть такой лес заповедный, Герцинский. И водятся там прекрасные женщины, которые летают по воздуху с теми, кого полюбят. Вот, говаривал он звенящим от радости голосом, представляете, вы, монашки, не просто прекрасные женщины, а крылатые. Феи. Здесь у нас одно сено и грязь и горшки от одного края деревни до другого, а там – прекрасные женщины с крыльями. А дальше, говорят, чудные страны...

Мой брат Андрей, он тоже тогда в нашем монастыре послушание проходил, это потом только ушел – тут разволновался.

Что, говорит, жук мордастый, надоело тебе коровок пасти? Хочешь с дьяволицами в том лесу блудовать?

Пастушок задрожал: нет, говорит, что ты, ну что ты. Хочу рыцарем стать.

Брат не успокаивался. Ты пастух, и будь пастухом. Я и брат мой будем монахами, потому что так Господь нам указал, и у Старца мы учимся. А ты должен стадо пасти. Если каждый захочет быть кем-то еще, то что же получится? Весь мир развалится. Монах – он монах, а пастух – он пастух! Ну, а ежели выучишься, как положено, у отца, гончаром станешь.

Вы – другое дело, насупился наш мечтатель.

Мы еще полежали тогда, помолчали, а через год, может быть, исчез наш пастух. Говорят, прибил к одному отряду, вроде как к важному рыцарю в оруженосцы пошел. А брат тоже ушел, только позже – искать мудрости по монастырям и городам. А на лугу том, понятное дело, теперь другие мальчишки сидят, разговаривают.

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Купил Любящий день слез за день размышлений и продал день любви за день печали, и умножились в нем любовь и размышления.

Ближе: Рыцарь Гийом

Незадолго до Константинова дня, оставшись совсем без еды, я впал в уныние. Даже молитва не прибавила света. И вот я услышал шаги. Очень странные – как будто бы великан в крошечных сабо со стыдом крался к пещере. Или стайка нехристей-гномов, для пущей скрытности забрались друг другу на плечи, и погромыхая своими лопатками и кирками, явились полюбопытствовать – кто там забрался в их царство, не покрадет ли он что-нибудь из неучтенных сокровищ? Я даже представил себе неловкого гистриона на ходулях, который тряско подволакивает весь свой фиглярский скарб, шары и погремушки – спасается от нашего крикливого настоятеля и его младших праведников. Но прервал мои фантазии голос. Он был незнаком и знаком одновременно.

«Я Гийом, – сказал этот голос. – Помнишь меня? Я вернулся».

Гийом начал рассказывать – скучным, далеким голосом, звучащим как будто бы из бадьи с простоквашей. Рассказал, как тащился по синей чащобе дальнего леса за одним бедным, но благородным рыцарем, к которому нанялся в оруженосцы. Рыцарь собирался в поход за Гроб Господень. Они как-то потеряли друг друга на самых подходах к Герцинскому лесу. А потом из пограничного оврага Гийома гулко спросили: «Кто-о-о ты-ы?» и оттуда поперли мужланы в звериных шкурах. Быстро повязали его крепкими жилами и поволокли продавать – глубже в лес.

Рассказал, как на поляне, куда его принесли, подвешенного между жердями, словно тушу оленя, он увидел отдельно: голое, синеватое тело своего мертвого рыцаря и горку его благородных доспехов. Разбойники сожалели, что пришлось им убить такого мощного, дорогого мужчину – а Гийом болтался между жердей, скрипели жилы-обвязки и шел затяжной, мелкий дождь, от которого всегда становится или очень светло, или очень гадостно на душе. Рассказал он, как мужички после его бессильных криков и воплей заткнули ему рот рыцарским поясом и тут же придумали хитрый план: обрядить его в благородного и продать подороже, с дальним прицелом на жирный выкуп. И стал мой бедолага ряженным рыцарем. В этом месте рассказа его голос зазвучал неожиданно гордо. Хотя, может быть, мне почудилось.

Дальше он долго рассказывал про житье в Герцинском лесу. Какие там водятся огромные, мохнатые дикие лошади. Как незаметно крадутся лесовики и как режут на редких дорогах заблудившихся степняков. Как ждут пресвитера Иоанна и гоняют, с воплями и пожарами, страшных волков.

Собственно говоря, женщина в Герцинском лесу ему-таки встретилась. Конечно же, не крылатая. Чернявая, высоченная и деловитая. «Экий миляга!», заявила она, тиснула его за плечо, а ночью разрежала жилы-обвязки и увела в новую чащу – от безусого работорговца, который уже собирался по тихому спровадить весь свой товар в какой-то разбойничий замок.

В новой чаще ветки оказались упругие, жесткие, и иногда сплетающиеся в паутину. А вскоре босоногая фея опоила ночью Гийома отваром, и привела в чащу другого барыгу, и продала Гийома ему как настоящего рыцаря, а тот – еще кому-то перепродал, с большой выгодой для себя. В общем, все эти годы этот бедняга путешествовал по чащам сказочного леса, из плена в плен, среди красавиц, купцов и бандитов, понемногу теряя доспехи и возвышенные мысли. Нашлись бойкие, умелые люди – они вместе заняли одну из дорог, что потеснее. Щипали купцов, остервенело пробивавшихся со своим перечным грузом из Италии ко дворам разных северных государей. Гийома все принимали за настоящего благородного рыцаря.

Я помолился за него.

«А что был за стук, когда ты пришел? – спросил я потом. – Ты ходишь с копьём?»

Он закричал.

«Култышки, а не копье, – сказал он наконец, – ноги мне там отрезали. Хожу теперь на руках. Лекарь тамошний, ну, в лесу, сделал мне такие чурбачки на ноги и как будто перчатки для рук. Смотри! Вот как ловко! У нас в лесу такие мастаки на култышки. А! А! А! Чудо! Смотри!»

Я услышал, как на тропке запрыгали прочь и захрустели попавшие под култышки камешки.

Он, бедняга, забыл, что как раз посмотреть я не могу.

Потом шум снаружи затих.

«Говорят, ты уже не святой, – сказал он вдруг с обидой. – А просто бес. А чего мне с бесами разговаривать».

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Пела птица в ветвях, среди цветов и листьев, и ветер шелестел листьями и приносил запах цветов. Спросил Любящий у этой птицы, что значит шелест листьев и запах цветов. – Ответила птица: Листья значат в своем движении покорность, а запах – страдания и невзгоды.

Дальше: По пути в Рим

Когда умер старый настоятель, друг Старца, на капитуле выбрали настоятелем монаха из местных, которого уже тогда называли Святошей. Святоша забыл и о Старце, и о его святом деле. Он занялся варением сыра, и строительством мельниц, и виноградарством: труды наши удвоились, а время молитвы стало меньше почти вполтину.

Старец давно научил нас читать, и брат Андрей пристрастился к этому делу гораздо сильнее меня. Вскоре после того, как Святошу выбрали настоятелем, брат отправился путешествовать, в Рим, в парижскую школу. Я провел в монастыре еще пару лет, но потом тоже собрался в дорогу. Меня влекли вовсе не книги: ведь Старец нам объяснял, в какой из обителей хранятся чьи мощи. Головное аббатство было мне по дороге, я надеялся узнать там о брате Андрее – он не мог пропустить столь богатое собрание книг.

Я пошел с гончарами, они направлялись на бургундскую ярмарку, везли свой товар. Через шестеро суток мы остановились на ночлег у подножья холма. До ближайшей деревни, по словам гончаров, было дня четыре пути. Но ближе к вечеру на вершине холма разбили свой лагерь бродячие гистрионы. У них был огромный шатер из лоскутной материи, в телегах они везли свой странный скarb, цветастые бурдюки, доски, костяные шары, разных кукол, большие бухты веревок, лютни, цимбалы и барабаны. Среди них было несколько женщин. Всего их было, наверное, столько же, сколько и наших, человек десять-двенадцать. Они разожгли костер и стали петь громкие песни.

Вскоре гончаров, как они ни боялись, разобрало любопытство. Один углядел при свете костра на вершине женщину помоложе, взобрался чуть-чуть на склон, и стал дерзко кричать: «Эй, красавица, я вижу отсюда, что у тебя есть прекрасный лужок!»

Женщина и еще несколько гистрионов немного спустились, и она со смехом спросила: «А что тебе за дело до моего лужка?»

«А у меня коняга хороший! Пусти конягу на лужке попасться и испить водицы из твоего колодца!»

Девушка ему прокричала: «В моем колодце не простая водица, а чистый нектар! Да к колодцу пещерка ведет, а на дверях той пещерки стоит бравый воин и со всех прохожих мзду собирает! Нектар-то недешев! Приходи, когда с ярмарки возвратитесь, и товар продадите!».

«Так у меня и сейчас деньги есть», – важно отвечал наш гончар во всю глотку.

«Столько не будет!» – сказала она презрительно.

Так они перекрикивались и смеялись на всю лошину, а потом она углядела меня:

«Да с вами монашек! Ну, теперь точно разбогатеете! А монашка я бы пустила напиться за грош…»

«Почему?» – обиделся гончар.

«Твой коняга, небось, большой грубиян, весь лужок мой истопчет… А у монашка, сразу видать, конек молодой да пригожий, почтительный, нежный…»

Гончар фыркнул. Я покраснел.

«Эх, монашков люблю… – продолжала она. – А не то вдруг он станет святым… Я бы его сок святой собрала, у меня и скляночка есть… Собрала бы да потом продала, когда он прославится».

Все грянули хохотом.

Так они перезнакомились. В стан гистрионов поднялись несколько наших, а от них к нам пришли два старика и та самая девка. Она под села ко мне и опять стала насмешничать. Один из стариков-гистрионов тоже сел рядом и молча слушал.

«Далеко ли едешь?» – спросила она.

За меня ответил гончар Арно Толстолапый, который когда-то послушничал в монастыре. Он сказал, что я еду в аббатство, а потом, если Бог даст, то и в Рим.

Девушка опять расхохоталась.

«А правду говорят, что вы, монахи, гузном книги читаете?»

Я знаками стал ее уверять, что это не так.

«Ладно, ладно... Еще говорят, что вы прежде чем книгу читать, за ухом чешете по собачьи?».

Тут мои знаки были бессильны. Я написал ей, а Арно прочел по складам, что это касается не всех книг, а только языческих, чтобы напомнить, что язычники – это собаки, и верить им особо нельзя.

Вмешался старик: «Все ты врешь, – сказал он, улыбаясь. – И про язычников, и про гузно. Карл Великий пытался вас, длиннорясников, вразумить, и учил вас читать, как положено, не гузном, а руками, да вы ведь народ упрямый!»

И он рассказал, при почтительном молчании гончаров, как император Карл якобы давал монахам каждому по большой деревянной буковке и требовал, чтобы тот ее изучал перед сном.

Я знал, что это полные глупости, но он продолжал, все более воодушевляясь. Девушка уже скрылась куда-то, а старик, сидя на корточках передо мной, и качаясь взад и вперед, вдруг зашептал:

«Смотри, монашек, святым-то не делайся. Я знавал одного взаправдашнего святого, так он плохо кончил. Знаешь как? Людям в тех дальних краях не хватало мощей... Они его подстерегли и убили, а потом разодрали на части...»

Потом он наклонился к самому моему уху, и сказал совсем тихо:

«Но, скажу по секрету, его голова досталась одному моему стариннейшему приятелю. Он ее сварил и таскал по всюду с собой, надеясь продать, но сам умер всего с неделю назад у меня на руках... Ты не хочешь купить? Она у меня!»

Я вздрогнул и отпрянул от этого жуткого старика. Потом я решил, что он шутит и разозлился, и вспомнив, что гистрионы – пособники Искусителя, и мне, монаху, вообще лучше бы с ними не разговаривать, я замолчал, а все остальные пировали целую ночь. А наутро нашли того гончара, что с девушкой болтал, с перерезанным горлом. В суме его было пусто, а гистрионов и след простыл.

Гончары наши бросились в погоню, потом они рассказали, что убили трех гистрионов, а девушку поймали, надругались над ней, и на той самой ярмарке и продали. Я же с ними тогда не поехал, а попытался один найти дорогу в Ключи. Но Бог меня не пустил: я заплутал, больше недели бродил среди скал, и в конце концов, вышел обратно к холмам, а потом вернулся сначала в деревню, а потом и в монастырь, к Святоше. А брат Андрей вернулся уже только, когда меня затворили, но ничего никогда не рассказывал. Говорят, после школы он тоже отшельничал с орденом картезианцев, но почему-то вскоре ушел.

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Пожелал однажды Любящий позабыть и не знать своего Господина, чтобы отдохнуть от трудов своих; но большими трудами обернулись для него забвение и неведение. И в терпении возвысились разум и память в созерцании Господина его.

О ловушке

Преподобные отцы Ириней, Григорий Назианзин и Иоанн Дамаскин считали, что дьявол был обманут Христом. Он принял его за обычного, грешного смертного и проглотил, а внутри оказался сам Бог. Тогда Врагу пришлось извергнуть всех: так Иисус Христос искупил первородный грех человечества.

Петр Ломбардский даже изображал Спасителя на кресте в виде ловушки для дьявола.

Сам великий Искуситель с тех пор не занимается мелкими смертными. Он посылает бесов. Порой какому-нибудь праведнику удастся, совершив нетяжкий грех для приманки, залучить к себе в келью и побороть беса. Царство зла тем самым теряет одного мелкого подданного.

Ближе: Настоятель Святоша

Мальчик мой, сыне. Что ж ты мне не ответишь? Обеты ты сам с себя снял, стало быть, не зазорно тебе и ответить, может, в последний раз доведется с живым-то поговорить. Мальчик мой! Послушай меня. Гордыня жжет, жалит тебя изнутри, будто ты пчелу проглотил. А пчелка, если с подходом к ней правильным, и медок принесет, и воском порадует... Я по безусости-то тоже на подвиги был горазд, и плоть иссушал, и молитвами, а выходил-то один раздрай и нелепость. Но теперь так у меня: медок собирай, сырок вари, виноградик дави. Знаю, вы, старцевы послушатели, меня за то презираете... А вот послушай, что я скажу. А вот все же послушай. Я ведь тебе говорил, еще до затвора, может, и вспомнишь?... Что пользы от Старца-то было? Мечтательность и духовное прелюбодеяние. А-а... Как отшельников нынче нет, так и вскоре не будет. Времена-то тяжелые, пустые времена наши, как бесплодная смоква. Думаешь, я не знаю? Эвона, знаю. Я вот, как тебя затворили, тоже стал на гору ходить, себе местечко присматривать. Сяду на вышине, распокойно мне так, а потом взглядом вниз опущусь, а там наша обитель. И мельница наша, и огороды, и все храмы наши, и братия ходит... Братья, как мышки, маленькие, растревоженные. Вот, думаю, сыночки мои, что без меня-то? Господин наш епископ, когда меня к вам приставил, так завещал: следи, чтоб хозяйство держалось, а за прочим Господь уследит. Без меня, боюсь, захиреют, в сомнения погрузятся. Да и деревня, как ни смотри, а без обители никуда... Знаю, что вы меня простоватым считаете, а ты вспомни, чем святые угодники славились: простотой голубиной! И Святошей меня вы браните, а за что же бранить? Брат твой Андрей писаниям сильно обучен, прочел, и что толку? Нет, отшельники нынче не нужны. В другом подвиг духовный, зря это вас Старец так размечтал...

Как в обители, с братией вместе, все тебя держит. Пойдешь капусту порубишь, там кельечку обметешь, чины все споешь: и легче! Или я вот, к мельнице прихожу. Гляжу, как вертится, и легче-легче.

У меня голос слабый, а ты все же послушай. Душа, она прорастает, куда захочет. У тебя вот в гордыню ее разнесло. А был бы ты с нами, а копал бы на огороде, как я давеча брата Андрея пристроил, то бы что? То-то... Я так думаю, что господин наш епископ не зря повелел тебя камнями заложить. Душу у тебя сильно расперло, не в лист и не в цвет пошла, а так, одна дурная всякая поросль. Я так думаю, что не зря. А вот еще ты подумаешь, что, мол, Святоша злой и неумный, а вот-ка послушай. Сыне! Мальчик мой, ты послушай...

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: В горах и на равнинах искал Любящий двери, чтобы выбраться из темницы любви, где долго был узником тела своего и раздумий своих, и всяческих желаний и наслаждений.

Ближе: Полина

Снаружи был солнечный день, я сидел под теплым лучом и думал о себе, как старике. Я даже пытался понять, какое лето прошло в моей жизни: двадцать пятое или тридцатое? Или больше. По тропинке начал кто-то взбираться.

Полина! Я услышал ее безмятежный напев, хлопанье в меру шагам пухлой ладонью по бедру – и, радость, простая, животная моя радость! – шуршание снеди. Это очень чувствительный звук, его ни с чем никогда не перепутать. Сначала – шелест лыковой корзинки, когда она задевает о кустики, растущие вдоль тропы из скалы; потом есть такое особое, тяжелое ворочание кусков: мяса, сыра, или даже сочного пирога, звук слегка хлюпающий, и еще как будто выдыхательный, несущий жизнь! Полина, моя Полина, она не убоилась, и – да, да, она уже не видела во мне чуда, она приходила не к святому отшельнику, а ко мне, запертому, голому, грязному и голодному пустобреху, которого она даже толком не видела, который не мог погладить ее по голове, прижать к себе, утешить, зажечь огонь, когда она, промокая, возвращается откуда-нибудь из дальнего леса с корзиной грибов, не мог намолоть зерна и съездить на рынок – к тому, от которого ей не было ни малейшей пользы. И вот от этого мира, где живут женщины, подобные Полине, я хотел скрыться. Слепец, совершенный слепец, нашедший свою полную слепоту в этой пещере...

Она позвала меня; голос был печальней обычного, но все равно в нем звучали и радость, и ее обычная легкость, которую кто угодно может называть придурью или размягчением ума – уж я-то знаю, как она умна, моя умница! Знаю ли? Ну, все равно – нет ничего на свете милее ее голоса. Солнечный луч заслонило ее лицо; как жалко, что у меня не осталось масла! Счастливо смеясь, я принимал ее дары, ее бескорыстное подношение – да, и мясо, и пироги, и сыр, и вино! Потом, слегка успокоившись, я начал с ней разговаривать. Она развеселилась, даже прыснула пару раз, залившись смехом, а потом вдруг посуровела.

Она что-то слышала – Святоша затеял неладное. И брат Андрей за одно с этим угрюмцем... Вероятно, приносить еду и питье запретят. Нет, нет, ей все равно, она будет носить, вот только... Что? Она женщина бедная, и раньше всегда собирала мне приношение по дворам... Вот как! И теперь? И теперь. Значит, все это... значит, кто-то еще, кроме нее, меня не забыл? Нет, нет, она собирала как будто бы для себя, люди у нас в деревне простосердечные, добрые, да и в соседних никто не откажет бедной простушке...

Боже, как это мне вдруг все показалось неважным. Я даже не успел отведать еды, я уже был совсем сыт – сыт странным чувством, наполненности, радости, тяжести жизни...

Не успел я всего этого рассказать, как снаружи раздался новый шум. Я не слышал шагов, но вот кто-то уже явно стоял рядом с пещерой. Незнакомый мужчина. Двое мужчин. Они грубо бросили что-то Полине, процедили сквозь зубы, я не смог разобрать. Она отвечала, как всегда, простодушно, легко. И вдруг она закричала! Крик пронизал мою пещеру насквозь, отбросив меня к дальней стенке. Потом я услышал звуки борьбы. Она явно отбивалась от этих двух чужаков, которые уже не бормотали, а нагло, хрипло рычали, словно подзадоривая сами себя. Один из них тоже вскрикнул, кажется, повалился на стену, потом вскочил. Камешки брызгали в разные стороны, шла тяжелая возня. Грубые поселяне, мужланы, бродяги, опасные люди.

И тут я почувствовал запах зла. Он был сладок, этот запах, как от медового взвара, и он струился ко мне в мой затвор, через дыру, душный, как зимний дым. Я вскочил и обратился к ним как можно строже. Что это они затеяли у жилища отшельника? Пусть опомнятся! Пусть оставят в покое бедную женщину. В ответ мне раздалась гнусная брань. Да, они знали меня. Но как лжесвятого, пьяницу, пустобреха, который дурачит людей вместе с этой потаскухой. Мне они покажут потом, да мне уже ничего и не надо – сам себя закопал, а вот с нее

они спросят сейчас. Я больше не слышал Полины – вероятно, они скрутили ее и зажали ей рот. Бродяги опять заговорили чуть слышно, словно выдавливая из себя по звуку-по два – так они разговаривали друг с другом. Лениво перебрасывались тихими, кислыми и тягучими словами, похоже, они обсуждали, что же с ней делать.

На меня вдруг напало постыдное безразличие. Я слишком хорошо знал, что не могу ей ничем помочь, чтобы эти люди не затеяли с ней совершить. Потом я услышал ее тихий плач.

Мужики стали ухать – мерно, разнузданно, и я догадался, что они с ней начали делать. Тварь, вдруг просипел один из них с обидой. Получай! Раздались жуткие звуки ударов, шлепков, снова полинин крик, потом она, видно, рванулась вниз по тропинке, мужики закричали друг другу «держи!», бросились с шумом за ней. Я еще долго слышал их разъяренные вопли, потом опять – крик Полины. И после него все затихло. То ли преследователи ее настигли, то ли случилось еще более страшное. В одном месте, недалеко от схода к деревне тропинка сильно сужается, и идет над настоящей пропастью. Нет, не хочу и думать об этом. Она убежала, да, ей удалось спастись, а крик... крик был просто так, может быть, она ударилась, или испугалась, перепрыгивая через опасное место. Нет, не хочу.

Седьмая пещерная сказка

На столе, рядом с ложем оставили: с маслом оливковым кувшинчиков – два. Пять лепешек, вода, молоко. И светильничек неряшливой отделки, чтобы видела перед смертью одну только грубость везде: в мигании света наблюдала столь суровую глубину своего склепа, и постигала всю низость собственного поведения.

Ликтор едва слышно вздохнул. Понтифик воздел руки к небу, пошептался немного, махнул рукой, и тут же ее вывели из паланкина, укутанной в плащ. Видеть она ничего не могла, но услышала, как из толпы вырвалась мать, голоса: «Уж мы гадали-гадали! Уж мы и по птицам и внутренностям! А все выходило – на Форум! Только отец запретил... Я дура такая: на Форум значит на Форум. Выставить тебя надо было, сквернавка, а не в жрицы давать! А он: в весталки, в весталки! Тьфу на тебя!» И мать скрылась в толпе.

Малышку спустили по лесенке, крышку закрыли засовом, и поверх насыпали гору земли, часть из которой просыпалась вниз сквозь узкие щели. Толпа еще немного постояла, пообсуждала. «Теперь прямо к Орку! – толковал один, видный знаток. – Слыхали, как мать ее отчитала? Значит, не выкрадет. Прямо к Орку, родимую!».

Весталка-малышка, жрица бессмертной богини, теперь должна была умереть. Сперва обвинили в любовании смазливим легионером: будто бы ее взгляд долго сновал по его загорелой, бугристой от мускулов ляжке – а потом, якобы, была встреча близ алтаря – поведение для жрицы Весты и вправду, неблагоприятное. Однако обвиняли облыжно: взглядом скользить скользила, но не больше; игра бугорков под кожей зачаровала, показалось, что там сновали зверушки. Что у нее, раньше была возможность видеть таких мускулистых? Отец-то был сухопар и угловат, будто птица, никаких бугров у него не водилось: вот она и залюбовалась. И такое во время огненной службы! В Круглом храме, когда сердце каждой девочки должно сжиматься восторгом и благоговением, глаза – жмуриться, и только слух истончаться, если, конечно, она не колет щепочки и не кладет их в огонь.

Совет из трех юрких старух обнаружил некие несуразности в ее анатомии, и решили: близ алтаря была жертва! Паскудная жертва, которую не пристало давать... Потом следили за поведением священной куры: кура клевала корм с отвращением. Ходили слухи, что близ алтаря скользила ночью змея – а кому неизвестно, что змея предвестница смерти? Злые сестрицы все двое суток, что Понтифик раздумывал, то и дело шутили насчет мартовского возжигания огня трением: вот, мол, поторопилась подруга, раньше времени стала тереться!

Коллегия опозорена, богиня оскорблена! И вот спустили умирать в склеп, придав масла со светильником, и позабыли.

То-то и есть, что позабыли: не думали, ни Верховная жрица, ни Великий Понтифик, переводя взгляд с фламина на фестиала, толковавших – каждый свое, не вспоминали о ее девичьей судьбе.

Малышка поплакала, выпила молока, легла на ложе и вскоре заснула. Но перед этим подумала: неужели, действительно к Орку? И еще представила – как же долго идти! От Коллинских ворот до самых дальних-предальних гор! И что там с ней будет? А зашел сбоку в склеп чудный Индрик, воссиял, аки солнышко, пошептал ей что-то нежное в ушко, и унес с собой девочку, неизвестно куда, но тем самым спас: никто такого подумать не мог.

Ближе: Мертвое тело

Я так измучился от раздумий, что не замечал ни смены дней у них там, снаружи, ни их событий. И еще меня очень тревожило, что Полина все не приходит. Неужели тогда, во время той страшной встречи с ней и вправду что-то случилось? От этих мыслей мне становилось еще беспокойней. Но мне некуда было деваться – я ползком перебирался из одной своей кельи в другую, пытался натащить камешков и заглянуть в верхнюю дыру, потом начал чуть-чуть подкапывать нижнюю, которую раньше использовал только для забавы и слушания. Я решил, что горшок мне не нужен, разбил его и стал скрести землю у этой дыры черепками. Я долго работал – работал, и как это было радостно осознавать, что я могу что-то делать руками! Как будто снова живой! – Я расширил щель настолько, что смог заглянуть в нее, вжавшись в землю щекой.

И сразу увидел башмак. Сначала я дернулся, решив, что это кто-то стоит и слушает, что я делаю. Потом до меня дошло – башмак был не на стоящем, а на лежащем человеке. Наверное, какой-нибудь пьяница из нашей деревни, или пришлый, решил прикорнуть в таком мирном местечке, у самой скалы. Скорее всего, чужак – все наши знали, что я где-то рядом, и так спокойно ни за что бы не разлеглись. Мне стало смешно! Вот ведь человек, валяется, и все ему нипочем. Ни мои мысленные терзания, ни дождь, ни холод. Разбужу-ка его!

С этой мыслью я вернулся в большую камору, взял свою заметно отяжелевшую флейту, легонько дунул для проверки – она зазвучала. И вот, подобравшись к самой дыре в малой каморе, я лег на землю, и подул в нее изо всех сил! Это был мощный звук. Дунув раз, я вслед прокричал: «Просыпайся, бедолага, тебе пора домой!» – я не собирался пугать его до полусмерти. Мне хотелось всего лишь пошутить. С какой стати я должен его наставлять – я, такой же, как он, и даже хуже. Пусть он чуть-чуть встрепетается, но, по крайней мере, на него не наткнутся бродячие волки, или дурные людишки, да и вечерним холодом его не прохватит. Но башмак даже не пошевелился.

Я подумал, что башмак здесь один, а человека нет вовсе – но башмак выглядел так, словно в нем что-то содержится. И еще, под углом, совершенно нечетко, но я видел темную гору лежащего тела. И тут до меня дошло, что может значить подобная неподвижность – человек вовсе не спал. Он был мертв!

Я замолился. Потом еще раз попробовал его разбудить – может, все таки спит, только что очень крепко... или упал, ударился, и лишился чувств и его еще можно спасти. Но в ответ ничего не услышал. И тут меня обьял ужас. Откуда, как сюда попало это тело? Может, его подбросили? Вот, мол, смотри, что тебя ждет. Но ведь никто не знает, что я могу видеть там, и что вообще в этой части скалы есть ход в мою келью... Тогда, быть может, и это мне чудится – и никакого башмака, и никакого человека там нет? Преодолевая страх, я попытался оглядеть все что, можно, внимательней. И тут мне показалось, что башмак – маленький, то есть женский.

Что-то случилось со мной. Из глаз хлынули слезы. Я отполз в дальний край этой каморы, к самому лазу в соседнюю, сел там и не спуская глаз с щели, проплакал долгое время. Может быть, час. Я отгонял мысль о Полине, меня посещали другие, не лучше. Под конец мне пришло в голову, что это вообще не человек, а морок – ведьма лежит там, у скалы, и смеется надо мной своим страшным ртом, делая вид, что застыла в смертельном окаменении? От такой мысли я сбежал в другую камору. Здесь было так же страшно, и опять приходила мысль о Полине. Я на мгновение набрался мужества и решил копать дальше, может быть, мне удастся просунуть руку... или даже расширить щель настолько, чтобы убежать... хотя это очевидно невозможно... уже начинались и снизу и сверху крепкие глыбы, которые подались бы крепкой кирке, но не черепкам. Потом – не знак ли это, не указание?

Я снова заплакал, на этот раз от странной, изнуряющей любви ко всем людям, живым или мертвым. Потом я успокоился и заснул. А когда проснулся, то первым делом пробрался обратно в малую камору. Никакого башмака, никакого тела видно там не было.

РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ: Рыдал Любящий и так говорил: – Когда же отступит темнота в этом мире, чтобы отвернули пути дьявольские? И когда же наступит час, чтобы вода, которой привычно сбегать вниз, обрела бы свойство подниматься вверх; и невинных станет больше, чем виновных?

Восьмая пещерная сказка

Вот, предположим, старый грабитель, лиходеи по крупному счету, из христиан, ничего не убоявшись, забрался под Малый Оракул за руинами храма светозарного Аполлона. Жидовин-сосед обещал найти покупателя и побыстрее увезти из Марсалии все, что найдется ценного-древнего. «Старина! – сказал. – Тебе-то бояться чего? Уже внука невестится! Разбогатеем, я тебя в Рим отвезу!».

Он аккуратненько подкопал одну стеночку, вышел в стариннейший склеп. Взял в мешок четыре маски чистого золота, обломок машины для производства пенящейся воды, тронул за ручку соблазнительного сундука – грохот, пылевая завеса! – и оказался заперт в своем подземелье. На стене обнажились смешные изображения: сплошные овечки да козлики, и знаки креста.

Старик подзаправился огурцами, осушил целый бурдюк. Потом не спеша рассмотрел изображения, разложил на каменном саркофаге все четыре маски с обломком, а когда погасла свеча, в отвратительной теплоте и удушье, задумался о гибели. «Эх, – сказал, – Спаси и Помилуй!» И стал насвистывать веселые песенки, приговаривая сквозь зубы: «А как славно гуляли! А не зря жизнь прожили!».

Вот тут – сияние. И из самой его глубины удивленная мягкая речь: «И что их сюда тянет? Будто медом намазано – лезут и лезут... Два века толпились, кричали да плакали, вот и этот явился, свистун... Пойдем, что ли, голубчик?» Старый грабитель сощурился, но ничегошеньки за сиянием на разглядел. Однако кивнул бородой и пошел за ним вслед. Чего ему еще оставалось?

Ближе всего: Я живой

Она никуда не исчезла, Полина! Она снова пришла к моей келье. Но голос ее звучал ах как тревожно. Только мне было все равно: жива, жива! И принесла мне чуть снеди: и сыр, и редьку, и даже лепешку!

«Все боятся к тебе приходить, – заявила она взбудораженным голосом. – Второго дня где-то здесь нашли старого лекаря – мертвого! Его зарезали. А потом вспомнили, что и купец ваш, Арно, тоже пропал, когда пошел к тебе за советом».

Но я не помню, чтобы он приходил. «Вот-вот! – продолжала она. – Говорят, что рядом с твоей пещерой появились разбойники, из дальних мест».

Я ничего не сказал, потому что уже вгрызся зубами в лепешку. Она вдруг захихикала.

«Или что ты – черный колдун и всех хочешь уморить. Поэтому они решили заложить стену до Константинова дня».

Ну дела.

«Они решили сделать это сегодня».

Я еще подождал, и она, захлебываясь, стала рассказывать, что ей-то ведь все равно, святой я или нет, потому что ей нравится мне помогать; она, когда пришла в нашу деревню, тоже долго жила без всякой поддержки, а потом люди одумались, вот и сейчас они ее здесь увидят, она им скажет, и они передумают...

Не успел я сказать, что я сам по этому поводу думаю, как послышалась какая-то возня и кто-то незнакомый, пыхтящий и жизнерадостный провозгласил:

«Поймал и держу! Поймал и держу!»

«Это дурочка местная...» – вот этот голос, без сомнения, принадлежал Гийому.

«Все-то ты, Рыцарь, лезешь. Будто и без тебя неизвестно», – с усмешкой сказал ему некто третий. Его голос мне тоже показался знакомым.

От Полины слышалось только возмущенное попискивание.

«Все равно сегодня уходим, – заявил Рыцарь задумчиво. – А она дурочка, никого потом не узнает».

Тут Полина вырвалась и заголосила:

«Узнаю, всех узнаю! А уж тебя-то, безногого, и узнавать нечего! Всем расскажу – это вы и лекаря и купца Арно здесь убили! А ты, носатый, ты ко мне уже прямо тут подлезал, холера тебя прибери!»

Я молчал и жадно слушал. Значит, с ней тогда ничего не случилось? Снова слышались визги, пыхтение, брань.

«Придется зарезать дурочку», – сказал третий задумчиво.

«Ну, сейчас только... Я б ее..!» – согласился Гийом.

Я подивился. Вот значит, как он в своем Герцинском лесу научился.

Тут вновь прозвучал сиплый визг – но теперь не полинин. Вверху, там, где отверстие для еды, которое я тщетно пытался расширить, показалась маленькая, детская рука, а потом – и голова девушки.

«Держи, за ноги ее хватай!»

«Да все равно не пролезет!»

Но она пролезла. Удивительно быстро она протиснулась через отверстие и, скользнув вниз, ловко приземлилась на четвереньки. И тут же выпрямилась. Ростом она оказалась – едва мне по грудь. На меня она смотрела, настороженно улыбаясь; я зажег свой светильник, для которого она же и принесла нового масла.

«Здравствуй, святой человек...»

«Ну, пустобреху-то нашему какая теперь благодать! – раздался снаружи голос Гийома. – Пошли, разве что?»

Но его убийцы-приятели оказались не очень согласны. Они зашептали, но мне все равно было слышно:

«Надо ее достать и зарезать... Она опознает безногого, станут искать, а он и нас сразу выдаст...»

Потом Гийом им сказал, что меня все равно сегодня замуруют, и никто не станет разбираться, отчего у меня оказалась Полина и кого она может опознать, а кого не может. Все только решат, что бес научился говорить двумя голосами. И все!

Гийом с одним спорил, а другой стал сильно бить чем-то тяжелым по краям дыры наверху. Ко мне внутрь, на землю, посыпались камни.

«Сейчас-сейчас», – бормотал этот третий разбойник.

Я сперва обрадовался, а потом вспомнил, что они все равно не оставят в живых ни меня, ни Полину. Но я только смотрел, как с каждым ударом отверстие становится шире, света все больше, и слышал, что звуки снаружи доносятся все отчетливей и отчетливей.

«Только это, – заявил торопливо Гийом, – дурочку-то надо сначала...»

Двое остальных, похоже не слишком его уважали. Они громко и грубо расхохотались.

«Калека, а бабское дело любит!» – заметил один.

А второй сказал:

«Идут вроде сюда».

Гийом испуганно произнес:

«Это пришли уже стену закладывать! Быстрее! Ломай!»

Но стучать прекратили. Злобный голос сказал:

«И так пролезешь! И со своей дурочкой намилиуешься всласть! Подумаешь! Просто-фили решат, что бес научился говорить тремя голосами!»

Гийом стал возражать, но его не очень-то слушали. Пока все это продолжалось снаружи, внутри Полина стояла рядом со мной, доверчиво держась за руку. Услышав, что двое бродяг решили закинуть Гийома в затвор, она отпустила мою руку и, развеселившись, захлопала вдруг в ладоши.

Снаружи все шла перебранка, громко звучали обидчивые вопли Гийома, и вдруг в отверстии появилась бешено дрыгающаяся рука, а потом и плечо. Заходило все это медленно, с сопротивлением:

«Тяжелый, хотя и безногий».

А потом он весь перевалился через край и беспомощно шлепнулся вниз. Какой-то не человек, а огромный паук, застонал, и, загребая руками, отполз подальше к стене и отвернул лицо от меня.

«Что же вы меня не ловили?» – спросил он потом, как будто шутливо и вновь застонал.

Полина подскочила к нему, держа в руке камень.

«Ага!» – прокричала она.

Снаружи раздался тихий свист и больше я ничего не слышал от двух бродяг. Третий, которого когда-то звали Гийомом, скорчился в углу и хрипло дышал. А Полина, встав над ним, попыталась стукнуть камнем по голове. Лежащий подставлял под удары локти и руки, и Полина, не попадая, с обидой пришептывала и сопела.

Я отвернулся от них. Отверстие наверху стало столь широко, что пролезть могла не только Полина, а даже и я. Но я так отвык от яркого света, что, чуть поглядев вверх на него, тут же зажмурился. Перед глазами моими все равно было светло. Я слышал, как то сопит, то хнычет Полина, и в ответ ей что-то испуганно стонет Гийом. Потом они внезапно замолкли. Я хотел открыть глаза и что-нибудь сделать. Но на тропинке уже звучали голоса односельчан, ведомых епископом и настоятелем. Мне кажется, я ослеп.

Два старичка

Мне очень часто раньше мерещилось, стоило лишь закрыть глаза, не вечером, а под утро, после долгой молитвы. Я видел гребень горы, но не далекой, а сказочно близкой, и на этой горе – огромный, гигантский конь с мохнатыми бабками. Стоит, грозно фырчит, прядет ушами и перебирает ногами. А у него на спине сидят два очень маленьких, седобородых старичка, худеньких, с добрыми лицами. Сидят, и оба, повернувшись ко мне, на меня смотрят. А потом конь трогается с места, и идет, не спеша, дальше по гребню горы. Оба старичка машут мне своими маленькими, почти детскими ручками.

Додик в поисках света (роман)

Когда внутри человека накапливается большое количество тонкой материи, наступает такой момент, когда в нем может сформироваться и выкристаллизоваться новое тело – «до» новой, более высокой октавы.

«Взгляды из реального мира», Г. Гурджиев.

Мефистофель:

Кто долго жил – имеет опыт ранний

И нового не ждет на склоне дней.

Я в годы многочисленных скитаний

Встречал кристаллизованных людей.

«Фауст», И.В.Гете.

1. В потемках души

На третий или четвертый день после того, как Давида Маневича привезли из роддома, по телевизору начали показывать «Вечный Зов». «Говорят, очень хороший фильм», – сказала бабушка Серафима. А Галя, разудалая матушка Додика, потребовала, чтобы в их комнату принесли маленькую, черно-белую «Юность».

Додик лежал распеленатый на клеенке в эмалированном корытце. Сестра Гали, Таня, сказала, что ему так полезно. Додик мог писать в свое удовольствие, прямо в корытце. Но вместо этого он сделал странное. Едва надвинулись первые титры, и зазвучала вводная музыка, как малыш дернул ножкой, весь сморщился от натуги, и приподнял голову!

«Господи! – изумилась бабушка Серафима, – что же он делает?»

А так Додик впервые отреагировал на вечный зов. Через секунду его головка под собственной тяжестью перевалилась назад, и шея у него вытянулась.

Тетя Таня обрадовалась: растет вундеркинд! А вырос настоящий цыпленок: с вечно свисающей то на одну, то на другую сторону головой. В школе его все звали Цыпленок, и только дома, когда хорошо чистил картошку, сам, без напоминания, выносил мусорное ведро и кормил кошку Даму, его звали Доди́ком. Что, впрочем, было почти то же самое.

Времена для роста еврейского самосознания были неважные. К тому же семья их проживала в Москве, а не в сонном южном городке, поэтому никаких обрезаний, скрипок, мацы и прочих традиционных глупостей в детстве Додика не возникало. Дед углублял и расширял советскую геологию, до семидесяти ездил на Камчатку и при словах «Тора», «Талмуд» или, к примеру, «богоизбранный народ» кричал, как утка, и вываливал на собеседника еврейские анекдоты.

Он утверждал, что благодаря им и выжил в войну. Едва он, молодой лейтенантик, попал на фронт командиром танкового экипажа, как экипаж его невзлюбил. И за нос, и за шибкую грамотность, и вообще. Решил экипаж порешить своего еврейского командира, в детской надежде, что им назначат старого, своего русского доброго дядьку, которому оставалось долечиваться в госпитале меньше недели. Бравый экипаж разработал хитроумнейший план – что-то связанное с имитацией производственной травмы при стрельбе – но тут дед начал рассказывать анекдоты. «Я ведь не шмазель какой-нибудь был, не тупак, я шеей своей чувствовал, что они там затевают. Ну, вот и выкрутился». Экипаж призадумался. А потом дед

поссорился с особистом, тоже евреем, и стал рассказывать анекдоты исключительно в его честь. Анекдоты кончились через две недели – к тому времени старого командира вылечили и отправили в другую часть, особиста застрелили свои в результате партийной борьбы, а дед Додика выжил. Эта история военной Шехерезады надолго врезалась в память Давида. И благодаря дедову сарказму все атрибуты иудаизма казались ему чем-то из области «Ералаша».

Прадед Додика переступил черту оседлости на лихом буденовском жеребце. Переступать ему так понравилось, что лет десять он только это и делал, на жеребце – туда и обратно. Один раз чуть до Харбина не доскакал.

В лихих набегах на неохваченное социализмом население всегдашним приятелем патриарху-Маневичу был ординарец и гармонист Венька Гаков. Его задумчивый правнук учился в той же школе, что Додик, но только был на три года старше.

Отец у Додика как бы был и его как бы не было. То есть с каждым годом он бывал дома все реже, а где-то в районе Иркутска и Новосибирска все чаще, так что, когда Додик все же уверовал в его существование, никаких материальных доказательств уже не осталось. Отец Додика занимался чем-то критически важным. Но чем? То ли искал ценные металлы, то ли сравнительно исследовал тувинцев и бурят, неизвестно. Время от времени от него приходили посылки с занятыми, но восхитительно ненужными вещами. Однажды он прислал целый ящик кедровых шишек, с подробной инструкцией, как после выколупывания орешков сварить очень целебный чай из шелухи. Бабушка Серафима чай варила и честно пила, все остальные отказывались. В другой раз он прислал десять копий Булгакова, «Мастер и Маргарита», объяснив, что купил их в сельмаге какой-то сибирской деревни. Со свадебной фотографии на сына смотрел невозмутимый носатый интеллигент: во взоре его было столько тумана, что можно было захлебнуться. Конечно, Додик мог вспомнить, что пару раз видел отца и воочию, но это казалось неубедительным. Мама, бабушка и все прочие, даже мимоезжие родственники предпочитали о таинственном папе не говорить. Впрочем, однажды кто-то из дальних обмолвился: по его словам выходило, что папа уже давно обзавелся не только другой женой, но и парочкой додиков на просторах Южной Сибири.

Преждевременный порыв в эмалированном корытце оставил свой след на всей жизни Маневича-младшего. На школьных фото он представлялся каким-то печальным хорьком, который простодушно не замечает напиравшую со всех сторон толпу одноклассников, и, словно бы отдыхая, склоняет голову на правое плечо – всегда на правое! Однако на фотографиях вне школы, на семейном просторе, голова тяготела влево. Иногда, будто очнувшись от скверного сна, Додик вытягивал подбородок вперед, стремясь уравновесить впалые щеки. Но тогда голова просто-напросто запрокидывалась назад, и на фото от всего лица оставались испуганные трубочки-ноздри.

Это было не единственное следствие: организм Додика, будто поняв, что с хозяином ему крупно не повезло, и заботы никакой от него не дождешься, мстительно подцеплял все возможные вирусы и микробы. Додик болел скарлатиной, ветрянкой и свинкой. Он ломал длинные пальцы, что, возможно, уберегло его от музыкальной карьеры. Он набивал себе шишки, которые по величине могли составить конкуренцию даже его носу, что было непорочно. От свинки у него развился менингит и Додика забрали в его первую долгую больницу. Впрочем, ему там понравилось. Медсестры смотрели на него и его девятерых товарищей по несчастью с ужасом и любовью. В те годы менингит легко приводил к самым жутким последствиям, и медсестры проводили дни в ожидании, кто из десятки спятит первым; Додик, естественно, был для всех самовозможнейшим кандидатом. Поэтому их баловали. Им делали какие-то изысканные пудинги с изюмом и курагой, варили компоты. Их ласково полоскали в ванночках и тазиках. Им громко читали веселые книги. А еще – чего медсестры совершенно не учитывали в своих расчетах – с ними работал великий профес-

сор Натсон, и в результате все десять вышли из больницы без видимых изменений. Бабушка Серафима полгода не верила, что младший Маневич остался при своем уме: так мало его было заметно, что до болезни, что после. Но тут у мальчика обнаружился странный дар. Мама склонна была толковать его как болезнь, бабушка – как генетическую одаренность, тетя Таня как ерунду. Додик начал методически выгребать деньги из-под касс в магазинах. Он сопровождал мать в походе за дефицитными продуктами, покорно подставлял шею под ожерелье туалетной бумаги, и вдруг, словно нехотя, медленно наклонялся с лицом, полным муки, и выуживал из-под кассы, или даже попросту поднимал с грязного пола копеек десять. В ребенке не замечалось особенной страсти к этому занятию: он застенчиво брал то, что для него лежало. Изредка он тратил деньги сразу же, на чепуху, иногда отдавал матери, но чаще всего терял или складывал в копилку, традиционного поросенка. Бабушка не переставала радоваться, хотя сама же первая густо краснела, когда внук, натужно сопя, вдруг плюхался на колени перед прилавком, и, шаря своей рукавицей, будто сачком, подгребал к себе горсть медяков. Рекордом Додика было подхватывание целых 500 рублей с обледенелого тротуара. Пять купюр небрежно валялись, и Додик их подобрал.

Уже у своего подъезда, он поинтересовался у дворничихи, имеют ли ценность купюры 1961 года выпуска. Ему казалось, что это какие-то исключительно коллекционные, древние деньги.

«Полную», – подтвердила та, шмыгнула носом и горько вздохнула.

Мама долго истерически хохотала и на следующий день расклеила на столбах вокруг места находки объявления очень туманного смысла. Позвонил некто, потерявший прошлым летом велосипед и еще один, обронивший в автобусе кошелек. Деньги остались в семье: Додику купили шапку-пирожок из каракуля. Бабушка окончательно уверилась, что внук в жизни не пропадет: сам не заработает, но обязательно свалится в тот овраг, где лежит горшок золота.

Ибо Додик продолжал падать. И госпитализация стала его привычным времяпровождением. В конце каждого учебного года его будущность висела на волоске: спасало лишь мужество мамы Гали, которая науськивала сына на любой школьный предмет буквально за день или два. Додик лежал в больницах обычно не больше недели. Он привык знакомиться с самыми разными людьми, включая и страдающих взрослых. Привык и к тому, что каждый стремится ему передать частицу своей жизненной мудрости. Он научился играть в шашки и преферанс, но ни того, ни другого не полюбил. Он мог часами слушать какого-нибудь пожилого бухгалтера Иваницкого, бредившего Эллиотом и Джойсом, и помощника завскладом, вислоухого черняша дядю Сережу, тайного последователя Рериха и Блаватской во втором поколении. Но, слушая, Цыпленок буквально ничем не заинтересовывался. Он просто кивал своим носом, мотал головой, и ждал непонятно чего: хотя бы компота в обед.

И вот, когда Додик-Цыпленок перешел в пятый класс, у него случилось первое духовное переживание. Он был на даче, которая каким-то невероятным образом осталась у их семьи – хотя получил ее, и лишь на время, когда вышел на пенсию, еще прадед Додика, тот самый бывший портной и лихой комиссар времен гражданской войны. Сверстников в дачном поселке не проживало. Самым близким по возрасту был Саша Гаков, правнук ординарца, который тоже получил со временем дачу в том же поселке. Саша Гаков, называемый просто Гак, собирался бросить школу сразу после восьмого класса и учить переплетное дело на фабрике «Госзнак», так он любил разные книги. За постоянным отсутствием отца Додик прибил к Гаку. Тот терпеливо нес крест шефства над убогим потомком бравого кавалериста.

В то самое лето он завел Додика в фотокомнату своего дяди, победителя международных конкурсов и тайного диссидента. Додик понял, что ему здесь откроют какую-то тайну.

«Вот, – сказал Саша, выключив всякий свет, в том числе красный, и вручив Додику зеркало. – Смотри в него, в темноте. Что ты видишь?» Додик неуверенно сказал, что ничего не видит, потому что темно. «Смотри лучше», – настаивал Гак.

Додик старался минут двадцать, потом сообщил, что ему страшно. «Что, мерзость увидел? – спросил язвительно Саша, который от нетерпения выкурил уже две сигареты „БТ“ из сташенных у отца. – Или так, чудищ? Жуков-пауков-трилобитов?» Додик подумал и признал, что, пожалуй, и пауков. «Ну вот! – Саша включил снова свет, только красный. – Это ты свою душу увидел, усек?»

Додик затосковал. Душу в виде паука он себе не очень-то представлял. И как-то сразу забыл, что в зеркале на самом деле ничего не было. «Подсознание... – подлил масла в огонь Саша, злорадствуя. – Через зеркало все выступает! Черная у тебя душа, выходит, Цыпленок. Черная и мохнатая».

Давид не спал целую ночь и думал о своей паучье душе. Он уже не сомневался, что видел в зеркале паука. Он лежал в темноте и думал тоже про темноту, только внутреннюю. А наутро решил как можно быстрее узнать все про душу и привести ее в какой-нибудь более приятный для созерцания вид. Однако это «быстрее» растянулось на много лет. Несчастный Цыпленок словно предчувствовал, что путь ему предстоит очень долгий, мучительный, и не слишком торопился на него ступить.

Мама Галя, когда он заговорил с ней о душе, ужасно удивилась и решила, что у ребенка проснулась древняя кровь, что он хочет вернуться к религии своих предков. «Ну, сходи в синагогу», – сказала она неуверенно, и тут же, верная скептицизму Маневичей, рассказала, что синагога в Москве находится в двадцати шагах от улицы великого антисемита и героя украинского народа Богдана Хмельницкого, а заодно, что раввин в синагоге пользуется непочтительной репутацией стукача.

Про репутацию Додик не понял, а про Хмельницкого знал и сам, что герой давно уже помер и никому поэтому угрожать серьезно не может. Он пошел. У входа в синагогу его встретил дружелюбным взглядом какой-то стройный, красивый юноша в кипу и таинственным шепотом предложил вступить в еврейское историческое общество. Но Додика история не интересовала. Он попер сразу внутрь. И наткнулся на завизжавшего от негодования маленького старичка, который заплескался вокруг него, что-то яростно бормоча. Додик остановился и, не выпуская старичка из поля зрения, бросил взгляд на доску объявлений. Там тоже куда-то звали. Вполне возможно, чтобы объяснить что-то важное. «Молодой человек! – наконец, произнес старичок отчетливо и хлопнул Додика по голове. – Как же вы так?» И снова хлопнул. Давид перепугался. Он не знал, что всем в синагоге полагается носить кипу, или как ее называли у них в доме, ярмолку. А старичок продолжал хлопать его по макушке и расходился все больше и больше.

Наконец, Додик не выдержал и, расширив глаза от ужаса, рванул и от старичка, и от манящей доски объявлений – наружу, прочь из синагоги. «Стой! – затормозил его красивый юноша у дверей. – Брат еврей, а знаешь ты наш алфавит?» Додик помотал головой, ожидая, что в следующий миг за ним вдогонку выскочит из синагоги сумасшедший старик, но тут же получил какую-то свернутую вчетверо бумажку. «Это – путь ко всей нашей культуре!» – пояснил юноша ласково. «И религии?» уточнил Додик шепотом. Слово «религия» он услышал от мамы накануне. «И религии. Приходи завтра сюда же». Дома он развернул бумажку. В середине ее был нарисован незнакомый значок, и стояло объяснение: «Алеф».

Додик ничего не понял. Но в синагогу больше не пошел. Уже много позже он догадался, что правильно сделал: ну, получил бы еще одну бумажку, с буквой «Бет» и что? Нет, возможно, он привык бы ходить на «Горку», как называли Московскую синагогу «свои», молодые евреи, слушать задумчивых, полнопечальных канторов, и глядеть на купол, который, по уверениям Александра Галича, был синее, чем небо. Но, увы...

Благодаря советской власти, смешливому дедушке и невежеству мамы религиозная жизнь Давида началась совсем не с иудаизма. Это тройственное сочетание можно назвать судьбой Давида Маневича. Ее первым решительным проявлением. Судьба противоречила самой себе.

Отец, старший Маневич, хотя и исчез, но честно передал Додику свою интеллигентную внешность и наградил именем, откровенней которого придумать было затруднительно. Но не только: он передал все, что мог, словно пытаясь возместить свое реальное присутствие: и нос, и манеру гнусавить, а главное – крест еврейства. Тот самый, который, например, мать Додика вовсе не тяготил. Но отца, по смутным намекам прочих родственников, он когда-то весьма беспокоил.

Не то, чтобы Додика унижали в школе, на улице, в пионерской и комсомольской организации, нет. Даже слово «жид» он узнал не от злого соученика, а прочел сам, в мужской раздевалке. Там было написано: «Бей жидов, спасай Россию!». Додику это понравилось. Под жидами он, как и многие в те года, понимал жадных, корыстных негодяев, навроде Витьки Стеклянного, который всегда «жидился», зажимал разные важные в геометрии приспособления – угольник и ластик. И вот, очень довольный собой, Додик вернулся домой и с порога весело закричал: «Бей жидов, спасай Россию!». Его подкупил лаконизм. Бабушка Серафима поперхнулась компотом, а, откашлявшись, забила в приступе хохота. Мама, узнав о лозунге минутой позже, тоже рассмеялась. Додику быстренько объяснили, кого называют жидами. Никаких неприятных чувств у него это не вызвало.

Хотя еврейское наследство явно имелось, но никаких неприятностей, что до похода в синагогу, что после ему не приносило. Его внешность была такой характерной, а телосложение столь субтильным, что все даже стыдились ему об этом напоминать. Возможно, прощали за откровенность. Ведь, кроме внешности, он обладал таким явным прононсом, что даже мама и бабушка охали, заслышав порой прямодушное «г-г-г» вместо «р», какое-то «ф» вместо «ш» и «ч» и множество других фонетических огрехов.

Приглашенные специалисты не помогали. Другие, посторонние люди хмурились, но... все спускали такому тщедушному. Короче, его не били. Только раз его удивили.

Дело было весной, и, возвращаясь домой на улицу Героев Панфиловцев, Додик часто видел лежащих то там, то здесь, отдыхающих грязных людей. Но в этот день весна отступила – и землю чуть-чуть подморозило. Движимый исключительно состраданием, Додик подошел к одному из лежащих. Он подумал, что лежать с удовольствием в такую погоду человек явно не может.

«Вам плохо?» – спросил он участливо.

«Было хорошо, пока ты не подошел», – сварливо ответил расслабленный человек.

Говорил он совершенно отчетливо.

«Вам помочь?»

«Отойди, а то не выдержу», – ответил тот.

Додик застыл, размышляя, что бы это могло значить.

«Отойди, – заныл человек. – Или хотя бы морду свою отверни, чтобы не так хотелось».

Давид совсем распоясался и сказал уже откровенно гнусаво – потому что расстроился:

«Ну, да фто вы...»

Лежащий только вздохнул. Он был мыслитель и поэтому напоследок сказал:

«Это же надо же – так и разгуливает! С такой мордой разгуливает! Не стесняется, гад!»

Додик сильно огорчился. Он даже покраснел. В его голове не вмещалось, как можно быть таким странным.

Этот случай он порой вспоминал и потом, тем более, что значительных событий в его жизни пока не происходило. И то сказать, что могло бы произойти? Мама с бабушкой, тетей и Гаком делали все, чтобы он не ощутил чего-нибудь оскорбительного для самосознания

и самоуважения. Он ходил в школу, задумчиво созерцал игры детей во дворе, иногда посещал зоопарк и ждал чего-то.

Школа его совершенно не радовала. Там играли в замечательную игру. Грудились у Додика за спиной, по очереди тыкали кулаком и требовали угадать, кто именно тыкнул. Додик никогда не угадывал, хотя и старался. Интерес к нему быстро теряли. Если забыть об игре, о ежегодных хлопотах в мае, связанных с пропусками по болезни, школа вообще не вызывала у него никаких чувств. Там учили какой-то томительной галиматье. Причем каждый педагог, от толстопузого математика Иосиф-Исакыча, который, волнуясь, плевался так, что один старшеклассник однажды не выдержал и громко сказал: «Ребята, дайте мне полотенце!», до сушеной русички Карины Петровны, – каждый твердил о невероятной важности своей науки для постижения мира. Но объяснить что-либо толком они не могли. Додик был однажды свидетелем того, как его одноклассник, подававший некоторые надежды на ум, загадочный прогульщик и двоешник чеченской национальности по имени Увайс, подобрался к химичке Татьянке. Она славилась своим пониманием молодежи; Увайс был постоянно мучим то национальными, то экзистенциальными вопросами. «Татьяна Ар-р-ркадьевна!» – пророкотал он, тормозя ее в коридоре. Та хлопнула на него ресницами. Увайс еще минуту назад толковал Додику что-то о связи лени, или, как он говорил, «безмятежности», с философическим знанием. Кроме того, у него напрашивалась двойка в году по физике, математике и черчению. Химичка покосилась на его нахальные пробивающиеся усишки:

«Да-а-а...?».

Ей захотелось курить: маячивший неподалеку Маневич навел на мысли о сговоре.

«Вы в математике петрите?» – начал Увайс издалика.

Химичка испугалась всерьез.

«Ну, сечете?» – переспросил он.

Ему, наверное, казалось, что так понятнее.

«Секу», – пересохшим ртом отвечала Татьянка.

«А она нужна?» – уныло спросил хитрый двоешник.

«Нужна», – выдохнула химичка.

«И мне?» – тут Увайс подбоченился.

Решив, что на мальчика обрушилось сексуальное созревание, химичка совсем напряглась и кивнула.

«И физика?».

Она кивнула опять.

«А литература?» – встрял Додик.

«Глупости какие-то... – растерянно сказала Татьянка. – У вас что, контрольные?»

Тогда Увайс смерил ее презрительным взглядом, махнул рукой и удрал. Химичка стеснительно покосилась на Додика. Но у него тоже исчезли вопросы.

«Глупости... – повторила она и закончила испуганно-наставительно: – Вы бы лучше о другом подумали... В стране перемены. Много перемен! Вам бы...» – она запнулась, покраснела и убежала.

Но жизнь огромной страны Додика тоже мало интересовала. Когда в школе объявили перестройку, он коротко сообщил об этом матери, та выдала ему анекдот: «перестройка-перестрелка-перекличка-перестук», и на этом обсуждение в их семье заглохло.

К тому времени появились заботы поважнее: Цыпленок стал принимать посильное участие в домашнем хозяйстве. Мама Галя вдруг очнулась и поняла, что от дальне-сибирского папы ей нечего дожидаться. Бабушка слишком часто погружалась в воспоминания светлого прошлого. Поэтому Додик теперь служил маленьким, грустным верблюдом. Мама бегала по магазинам и занимала очереди, а потом звонила и командовала приходить – потому что на одного человека давали значительно меньше, чем на двоих. И Додик приходил к ука-

занному магазину, а потом возвращался, с гирляндой туалетной бумаги или сумками какой-то, неожиданно ставшей редкой крупы. Бабушка охала. Додик невольно всё-таки жил жизнью страны.

Порой он ходил в магазин не с мамой, а с Гаком: тот к своим обязанностям относился очень ответственно. Восхищал окружающих, когда выуживал самый крепкий и свежий капустный вилок с самого низа огромных лотков с крупной решеткой, похожих на манежи для младенцев, в овощных магазинах. В букинистах, по его словам, он также ловко выхватывал какие-то редкие книги. Его хвалили. Додик не завидовал, а относился все более почтительно и внимательно. Гак приходил к ним домой и учил делать сметану из кислых сливок, а майонез – из самых разных ингредиентов. Под его руководством бабушка Серафима несколько раз солила огурцы и квасила капусту. Но у нее ничего не выходило – капуста горчила, а огурцы покрывались соплями. В Гаке все Маневичи-дамы видели опору прочнее, чем в Додике. Но Додик не возражал.

Участие в пионерской организации на нем никак не сказалось. Был он вял и уныл: интерес у него просыпался к столь экзотическим вопросам, которые на собраниях не поднимались. Хуже того: даже зарницы, беганье с палочкой по кругу, прыжки через бревна, пионерский костер и его тушение мужским способом Додика не привлекали. В пионерском лагере он скис в первый же день. На второй подъехала бабушка, с запасом помидоров и настоящего, не самодельного майонеза. Додик мрачно сообщил ей, что уже упал в обморок на утренней линейке, едва не утонул в речке Чуша, фельдшерица натерла его чем-то жгучим на сон, а, сегодня, проснувшись в больничной палате, он обнаружил в своих трусиках заскорузлую, мерзкую зубную пасту, и до сих пор не знает, откуда она там взялась. Бабушка тоже не знала, но заподозрила сугубо мужскую болезнь. Она настояла, и маме Гале пришлось эвакуировать дитя без каких-либо признаков коллективизма на четвертый же день.

В общем, детство ознаменовалось немногим. Кроме вышеизложенного, в памяти Додика осталось еще одно: приезд кенгуру в зоопарк. Большой серый зверь некоторое время приплясывал за сеткой «рабица» в просторном вольере. Додик смотрел на него, на слона, на тапиров и испытывал какое-то умиротворение. Он находил в них сходство с собой. Он приходил поглядеть, как монтируют новые клетки и готовят переход на новую территорию. Потом он в ужасе углядел, как серого кенгуру провезли на тележке: бедняга умер, не выдержав севера. Додик чудовищно огорчился. Может быть, с этого и начался его подлинный духовный рост. Он задумался о жизни и смерти, плавно перешел на смысл обеих, предположил некий свет в конце туннеля и устремился к этому свету – насколько позволяла нескладность фигуры и неразвитость речи.

2. Утренняя звезда

Однако еще очень долго духовный путь Давида Маневича по-прежнему определял томительный страх в отношении собственного нутра. Психоанализ учит, что задумчивые взрослые произошли от скрытных детей, которые проявляли повышенный интерес к деятельности своего кишечника. У Додика было не так. Кишечник его ничуть не волновал. Душа – и только.

Его страшные подозрения о своей паучьей натуре только подтвердились, когда он немного подрос. В тринадцать лет у него были невероятно большие руки и ноги, с чудовищно длинными пальцами.

«Это арахнизм, – равнодушно определил начитанный Гак, уже давно забывший об эпизоде с зеркалом в фотомастерской. – Паучья болезнь».

Тогда же выяснилась самая трагическая подробность умственной организации Додика. Он не мог читать духовные книги. Даже от писаний графа Толстого у него начинала болеть голова, что уж говорить о прочей духовности! При одном только виде «Бхагаватгиты», которую уже тогда таинственно продавал при общежитии МГУ бритый нервный мужчина в цветастой одежде, Додика вывернуло наизнанку. Причем буквально: и так не слишком чистый кафельный пол перед студенческой партой, заваленной незаконными ксероксами принял на себя миску борща, макароны с котлеткой и еще что-то, не слишком опознаваемое. Уборщица Ангелина, свирепая бабка в красной бандане, сначала избила Додика тряпкой, а потом заставила его этой же тряпкой все подбирать. «Такой маладой, а вже алкаш!» – процедила она. Додику было так стыдно и неудобно на этом кафельном полу, что он понял: во-первых, он никогда не станет студентом, ни здесь, в МГУ, ни где-либо еще, и, во-вторых – с этими книгами надо быть осторожнее.

Саша Гаков, совершенно выросший в развеселого бугая (а ведь еще в четырнадцать лет ему предлагали наняться грузчиком в один выгодный магазин) о переплетном деле забыл и стал вольным художником. Но он был по-прежнему падок до литературы – и как раз такого, «внутреннего» рода. Он-то и выявил странность Цыпленка.

Проблему они исследовали вдвоем. Перестройка дошла духовности, и даже «Политиздат» публиковал трактаты дремучих тем и времен. Гак приносил разные книги, и, сочувственно помаргивая воловьими ресницами, ждал, как Додик к ним отнесется.

Ни «Молот Ведьм», ни «История сношений человека с Дьяволом», переизданные в подарок всем любителям мистики, не вызвали у Давида никаких вредных реакций. Гак рассудил, что они движутся правильно. Он продолжал носить все подряд, пока Додик не воспротивился.

«Зачем мне вообще читать? – спросил он мрачно. – И так проживу».

Гак подивился упрямству подшефного, но настаивать не стал.

Несмотря на то, что Додик мало читал, очков ему избежать не удалось. Маленький велосипед сел на его переносицу, когда ему было десять, и с тех пор уже не слезал. Читать то, что ему хотелось, Додик не мог, а что мог – не хотел, но именно из-за мучительных экспериментов со священной литературой, когда его голова раскалывалась, а глаза вылезали из орбит, зрение все же испортилось окончательно. Так что вид у него был, что надо: начитанного мальчика из хорошей еврейской семьи. Гак решил так: о чем Додик думает – все равно ведь никому не интересно. Кроме Гака, конечно, но тот все знал и так.

Мама Галя отнеслась к проблеме сына спокойно: она всегда говорила, что его вид и так говорит о повышенной начитанности. И, что, мол, усугублять не стоит.

Гак же выявил и продолжение загадочной болезни Додика: того тошнило не только при чтении. Даже на пересказы он умудрялся как-то реагировать. Скорее всего, как определил один знакомый отца Гака, психолог, мальчик просто быстро переутомляется. «Он пытается что-то понять, голова не переваривает, и желудок вываливает» – определил он вкратце. Но Гак догадался, что дело было не в длительности пересказа. Чаще всего Додик начинал подозрительно пухнуть в щеках, подергивать кадыком и даже отвратительно шевелить скулами, едва его собеседник употреблял ключевые слова: «знание», «тайное», «мудрость», «смысл жизни», «вечное» или «духовное». Объяснений этому не нашлось. Гак быстро, на собственном опыте, выяснил, какие именно слова и даже шире – понятия – не приемлет желудочный тракт Маневича-младшего, и больше их не употреблял. Сложнее было с чужими людьми, например, знакомыми матери, но, когда Додик мог, он просто вежливо извинялся, и уходил в свою комнату. Гораздо хуже оказалось то, что, зная о своей проклятой особенности, он только того и желал, что проникнуть в запретное. Нет, читать – не хотел, но узнать! Его это задело: он вышел из детского сна, он должен был выяснить, что же от него скрывается таким скандальным образом.

Однако, решив не читать никаких священных писаний, он теперь остался один против целого мира загадочных знаний, и вынужден был пробираться по жизни на ощупь. Гак тоже понял, что Додик теперь обречен на устные передачи, причем, весьма деликатно проделанные. Он и стал тем, столь нужным Додику, устным передатчиком. «Репродуктором», как он сам себя называл.

Гак матерел на глазах. Он стал пропадать у каких-то новых, замечательных знакомых. О некоторых из них он сдержанно повествовал единственному доверенному слушателю. Тому самому, который, кроме слушанья, ни на что не был способен.

«Смелые люди, – повествовал Гак, теребя меховой подлокотник кресла Маневичей, – ты понял?»

Додик кивал и грустил.

«Хиппи, панки и сатанисты, – объяснял Гак, – тоже, как я, ищут смысл жизни...»

Он посмотрел на грустного подопечного и уточнил:

«Как я и ты. Только ты еще мал».

Додик вздохнул.

«Ладно, так и быть, с одним тебя познакомлю. Хиппи Джон, понял?»

Они помолчали.

«Пронзи-ительный человек...»

Хиппи Джон по случаю прихода весны как раз вышел из «дурки», где он имел обыкновение проводить холодную зиму.

«Ему все колют, что могут, а не действует! – пояснял Гак, когда они с Додиком пробирались через мрачную свалку к жилищу пронзительного Джона. – И этот, как его, сульфамето... короче, сульфамето ему колют! Лоботомии хотели делать, ну, череп вскрывать, но тут уж мать его отстояла. Она ударница.»

Додик слушал, стараясь быть повнимательней – все-таки первый по-настоящему духовный знакомый. Гака он почитал не только как репродуктора, но и как своего рода проводника. В учителя его шалый огромный дружок все-таки не годился. Гак исполнял свою первую проводническую миссию очень чутко: пару раз перетащил худосочного Додика через опасные ямы с осклизлыми бортами и дном, утыканным арматурой.

«У него вся жизнь – сплошной поиск! – продолжал он говорить с подопечным под мышкой. – Читает, все проверяет, ищет, думает, медитирует...»

Додик услышал незнакомое слово, но постеснялся спросить. Вместо этого он задумчиво и гнусаво сказал:

«Странно все-таки... Как же его тут не трогают?»

«Кто ж его тронет?»

«Маньяки. Бандиты».

Гак расхохотался.

Хиппи Джон варил что-то в прокопченной банке из-под тушенки. На появление Додика он только скептически хмыкнул.

«Ну, раз такая маза», – сказал он загадочно.

Потом понюхал содержимое банки и решительно опрокинул ее в костерок.

«Что, пипл, похиляли?»

У Джона были большие усы и утомленное жизнью, вытянутое лицо. От него густо и в самом деле пронзительно несло рыбой, и чем-то еще, что напоминало Додику длинные мерзкие сопли из известного анекдота о «перекусывании». Джон пососал большой палец, поскреб где-то за пазухой и враскачку побрел к выходу из жилища. В жилище, кстати говоря, не имелось ни мебели, ни дверей, ни окон – сплошные проемы. С продавленного потолка свисала какая-то ветошь, а на помосте из кирпичей и черных от старости досок лежали матрац и гитара.

Гак огорчился. Видимо, он хотел сначала побеседовать задушевно о поиске и о смысле. Маленький Додик вздохнул, жалея, что им снова придется идти через свалку. Однако выяснилось, что от развалин домушки, где проживал его потенциальный наставник, ведет аккуратная дорожка через полянку на большую дорогу.

Пока они шли по дорожке, Джон что-то неторопливо внушал Гаку, временами пускаясь в дерганный пляс, и хлопал кулаком себя по заду, коленкам и даже по каблукам.

«А куда мы идем?» – тихонько спросил Додик у Гака, когда Джон, сказав ему все, что хотел, стал с отстраненным видом глядеть на дорогу.

«Не знаю, – также шепотом отвечал „проводник“. – На тусовку какую-нибудь».

У Додика внутри все защемило.

Джон что-то хмыкнул и радостно улюлюкнул.

«Знаешь, как он спасается от мильтонов? – сказал Гак, согнувшись чуть ли не пополам к самому уху Додика. – Он просто ныряет в мусорный бак, и они его и не трогают».

«Почему?»

«А запахло. Грязно ведь. Он все баки в Москве знает».

Большая дорога привела их к метро. Додик, совершенно не представлявший, куда это их занесло, лишь удивился, зачем Гаку потребовалось вести его через гнусный пустырь, а до этого везти на троллейбусе, если метро, правда, другое, так рядом.

Все люди, попадавшие по пути, презрительно, брезгливо или сурово кривились, глядя на Джона. Гак из солидарности пошел чуть ли не бок о бок с хиппом, подтащив за собой и Додика, который поморщился, уловив снова запах и сопель и рыбы. Джон все молчал.

У метро прохаживались три милиционера. Завидев их тройку, они осклабились, но не презрительно, а радостно и победительно.

«Не напрягайся», – прошипел Додику Гак.

Хиппи поприветствовал представителей правопорядка громким хохотом свободного человека. Лица у тех закаменели и они зашагали навстречу.

«Смотри, что сейчас будет, – зашептал Гак. – Смотри!»

Джон что-то пробормотал на непонятном, рыкающем языке, зачерпнул рукой грязи и лениво швырнул ее в сторону приближающихся милиционеров. Те разом взвыли и бросились на него. Но Джон, улюлюкая, ускользнул и метнулся к домам.

«За ним!» – крикнул Гак, и что-то подобное прорычали друг другу милиционеры.

Впереди несясь Джон, распахнув свою телогрейку, расставив в стороны руки и иногда издевательски останавливаясь и поджидая преследователей. Те бежали сосредоточенно. Гак,

волоча Додика за руку, пер чуть в стороне. Один из милиционеров поглядывал на них удивленно.

Наконец, Джон остановился, станцевал и обратился к погоне с оскорбительной речью.

«Менты! – кричал он. – Ментяры! Я вас кохаю! Всю жизнь напролет... Ай вона лав бай ю!»

Все шестеро столпились у подъезда кирпичного старого дома. Не успел Додик отдышаться, как последовала драматическая развязка. Милиционеры минуты две постояли, зверо и подзуживая друг друга комментариями на джонову речь, а потом разом, прыжком, оказались с ним рядом и схватили за телогрейку. Джон молниеносно вывернулся, и, оставив одежду у них в руках, метнулся к подъезду, пробежал под самыми окнами и вновь выскочил на дорогу у другого подъезда. Мильтоны помчались за ним. Гак почтительно подобрал всеми брошенную телогрейку и проорал:

«Давай, Джон, давай!»

«Не отставай!» – прозвучало в ответ.

Тут, наконец, и преследователи сообразили, что нелепая парочка из дылды и сопливого еврейского мальчика неспроста все время ошивается неподалеку. Они к тому времени загнали хиппи в угол двора. Приближение Гака и Додика вызвало у них приступ радости:

«Ученичков завел! Новая смена!»

То, что даже милиционеры признали в нем ученика пронзительного духовного человека, наполнило сердце Додика признательностью и страхом.

Джон вновь принялся оскорблять и приплясывать. Милиционеры ласково жмурились: бежать ему было некуда. Если не считать мусорного бака.

Затаив дыхание, Додик смотрел и учился. В тот самый момент, когда ярость милиционеров заставила их рвануться в самом праведном гневе к нему, с воздетыми к небу черными палками, Джон перемахнул через край бака и чем-то там зашуршал. Наружу полетели тряпки, ящики и листы гнилой, черноватой капусты. Потом кошка. Потом над краем возникло довольное и чумазое лицо. На ухе красовалась плюха какого-то отвратительного, зеленоватого мусора явно органического происхождения.

«Берите меня! – отчетливо завопил Джон. – Берите!»

Он еще сильнее взворошил содержимое бака. Даже до Додика с Гаком, стоявших метрах в десяти, дошла гнусная вонь. Милиционеры затоптались вокруг. Джон кинул в одного желтым ошметком.

«Ну, идите, обнимемся! – крикнул он и тут озаботился. – Вы что там стоите? – позвал он Гака. – Быстрее!»

И только тогда Додик понял, что сейчас будет.

«Возьмем, что ли, этих?» – спросил у товарищей один из мильтонов.

И вот, крепко обхватив Гака с обеих сторон, а Додика просто за шиворот, их повлекли в отделение. Грустный Джон, наполовину высунувшись из своего бака, что-то громко канючил на неизвестном никому языке.

Впрочем, в отделении им ничего страшного не сделали. Дылда Гак, пытавшийся по дороге рассказать о каких-то правах, получил пару тычков, а Додика, оробевшего до того, что задрожали коленки, третий мильтон, пожилой и сочувственный, чуть ли не донес на руках.

За Додиком приехала мама Галя, она же уговорила отпустить угрюмого Гака, который все норовил истребовать какую-то компенсацию.

Больше Додик Джона не видел.

Зато, словно бы убедившись в его желании что-то постичь, Гак принялся знакомить его со всеми, кто в его понимании, мог помочь. Всё это были люди немножко странные,

немножко смешные, но глубоко занятые своими, тяжелыми и утомительными разборками с окружающим миром. Сказать ничего важного они не могли.

Наконец, на горизонте объявились какие-то сатанисты.

Они объявились и тут же приблизились:

«Мы едем к Гуне в Подольск! – сказал Гак. – Гуня – сатанист-дуалист. Сегодня у них посвящение».

Гуня жил в странной квартире. Там не было ни дивана, ни стульев, ни даже стола. Стены, пол и потолок были выкрашены в черный цвет. В одном углу был выписан красный круг с белой свастикой, в другом – некий загадочный, сложный знак, напоминающий узоры калейдоскопа. По черному полу тревожно бегал черный петух. Хозяин, впусив Гака и Додика, блеснул на них весело глазами, схватил петуха, отнес в угол под знаком и мелом замкнул его в круге. В середине комнаты, так же мелом, были обведены контуры человека, как это делают при убийствах.

Петух закудаhtал. Додик вздрогнул.

Гуня был взросл, лет сорока, и сдержанно гостеприимен.

«А, нашего жидовского полку прибыло!» – сказал он, приветствуя Додика.

«Гуня...» – укоризненно начал Гак.

«А, что, я тоже еврей! На восьмую... Или шестнадцатую, – удивился тот и протянул Додику большую, мягкую лапу. – Гюнтер. Максим Максимович», – указал он на петуха.

«Ты же фашист», – удивился Гак, непринужденно усаживаясь на пол.

«Не-е-ет, – протянул Гуня. – Я сатанист. Я манихей! Адольф Гитлер тоже был сатанист-манихей, и за это я его уважаю».

Гак покачал головой в видимом восхищении. Додик переминался у двери, не решаясь ни сесть, ни встать к страшной черной стене.

«Это – ненужные сложности, – сказал Гуня, по-прежнему улыбаясь. – Да, Гитлер убивал наших евреев, но все – по указу. Не будет же обсуждать Его указы!» – он посмотрел в пол.

«Не будем, – согласился Гак, и все же не выдержал, – может, по-твоему, Гитлер тоже был еврей?»

Тут Гуня разволновался. Он забегал, как петух до того, как его посадили в угол, он стал скалиться на Гака, пошел в ванную, вернулся в черном длинном плаще и стал что-то бормотать. Додик глядел зачарованно.

«Что же ты, что же ты... – бормотал Гуня. Потом замер, видимо, решив взять себя в руки. И затараторил: – Главное – не волноваться... Главное – не волноваться! С чего это мне волноваться? Вот еще не хватало – мне – волноваться! Главное – не волноваться».

После этого он произнес таинственное заклинание, пробежал в угол комнаты, поцеловал знак, подхватил на руки петуха, и, бросив: «Пошли! Нам пора!», пошел к главной двери. Петух молчал.

Через полчаса они пришли в мрачный лес. К тому времени Максим Максимович не на шутку опечалился. Гуня, стыдясь своих чувств, увещевал старого друга сдержанно и по-мужски.

«Такая твоя судьба», – говорил он петуху.

Тот горестно кряхтел из-под мышки.

«Большая честь, – уверял Гуня, – там, знаешь, сколько разных других петухов было, я тебя отстоял...»

«Что это?» – удивился Додик.

«Ритуал какой-то значительный, – прошептал ему Гак. – Видишь, он своим Максимычем даже пожертвовал. А они два года вместе живут».

«Что значит: значительный?»

Они шли без тропы, как Гак объяснил до этого – специально. Шли на место сбора всех ведущих сатанистов, дьяволистов и манихеев Московской области.

«Ну, бошку Максимычу точно отрубят», – неуверенно сказал Додику «проводник».

Гуня, словно услышав их шепот, опять забормотал, большими кругами бегая меж деревьев, то улетаая далеко вперед, то перемещаясь им в тыл. Когда их траектории пересекались, до удивленных новеньких доносилось:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.